

29.463 К

И В А Н О В С К И Е
П И СА ТЕ Л И
Р О Д Н О М У
К Р А Й

Виталий
Сердюк

Судьба писателя



Воспоминания и размышления

И
В
А
Н
О
В
С
К
И
Е
п
и
с
а
т
е
л
и

Р
о
д
н
о
м
у
к
р
а
ю

Виталий
Сердюк

Судьба писателя

Воспоминания и размышления

Издание второе,
исправленное и дополненное

ИД “РЕФЕРЕНТ”
2011



ВЫШЕ СМЕРТИ

Как рассказать об этой короткой жизни?
Какие слова найти?

Из глубины лет будто доносится его насмешливый и предупреждающий голос:

Он словно здесь уже, рядом со мной...

Время от времени откидывает назад упавшие на лоб русые волосы. Но взгляд устремлён мимо меня, словно в далёкое далеко, куда ему уже нет возврата...

А там, в прошлом, была кипень белых садов, старинное, будто литое, здание школы со знакомыми ступеньками парадного, девочка с тяжёлой косой. И там, в прошлом же, — томики стихов любимых поэтов и его собственные в ученических тетрадках. А потом была Москва, университет, читальня на Моховой, общежитие на Стромынке, полуночные споры вперемешку со стихами и... Война!

Если бы он и в самом деле сидел рядом, в ответ на его ироничные стихи я ответил бы:

— А помнишь, ведь ты писал и прямо противоположное:

«Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочтете, как миф...» —

В книгах! Как же написать их, не раскрыв «комодов», не заглянув в письма, не узнав о днях твоих? Или – твой же завет:

«Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли...»

Помнишь?

Вот я и решил рассказать... Мне хочется, чтобы о тебе помнили, помнили светло, но и с грустью: так мало тебе было отпущено для жизни, для творчества. Так много ты обещал! Не случайно же Сергей Наровчатов сказал, что «это уже стихи молодого мастера, хрестоматийные произведения, без которых немыслима любая антология советской поэзии XX века».

Но, знаешь, о тебе очень трудно писать, потому что...

«Потому что ничего героического я не совершил, — слышу я его голос. — Потому что жизнь моя не слишком богата внешними приметами. Да и от-

куда им?.. Прожил-то не пятьдесят, не сорок и даже не тридцать, а всего двадцать два. До смешного мало!»

— До обидного мало! Двадцать два... Всего-то лишь зacin жизни. Красивый, много обещавший, но зacin.

«Чересчур громко, конечно...»

— Нет, не чересчур. Вот и Наровчатов... И другие. Твардовский говорил, Дудин, Жуков, Антокольский, Слуцкий, Глазков, Львов... Да всех и не перечислишь. И потом, понимаешь, какая штука, ведь за тобой стояло и стоит целое поколение. И в стихах твоих их мысли, чаяния, их порыв — твоих сверстников, поколения, которое искало «крутых путей к последней высоте». И что бы там ни говорили, именно вы строили плотины, города, заводы, одним словом, переустраивали землю нашу, а потом, когда пробил чёрный час, взяли на свои плечи войну. И тебе выпало стать одним из трубачей, если говорить высокопарно, своего поколения. Значит, быть впереди.

Слышишь, мир произрастает!..

Была весна. Не та ранняя, когда с предощущением чуда ждёшь первых зелёных капель, которые окропят деревья, когда меж чёрных стволов и ветвей вдруг заплутается реденький ещё салатовый туман. Была весна цветения и цвета. Сады буйствовали широко и напористо, и под этим неудержимым напором жизни, казалось, стонали и прогибались старенькие дощатые заборы.

На высоких берёзах, полоскавших зелёные ветви в синем просторе, висели, как косматые басмачи малахи, грачные гнёзда. Их обитатели, то улетавшие, то возвращавшиеся, были на удивление сосредоточенно-молчаливы, занятые важной работой. Да, видимо, минута пора грачного гряя.

Немощёную дорогу с обеих сторон обступали распустившиеся акации и вишненники, и неширокая эта улица казалась ещё теснее.

В стёклах тихих домиков жмурилось конопатое солнце, а на заглядывающий в окна буйный этот мир с подоконников взирали надменные, ухоженные глоксинии, фуксии и ещё, невесть каких мудрёных названий, какие-то жирные цветы.

Стоило пять минут побывать здесь, в этом «майоровском» уголке, как уже верилось, что весь белый свет точно так же цветист, радостен и покоен. И начинало одолевать сомнение: да неужели и в самом деле находишься в большом промышленном городе?

Именно здесь, на этой весенней улице его детства, я как-то очень осознанно понял, откуда в его лирических стихах такое удивление силой и красотой природы, восхищение гармонией и вечностью обновления жизни. Да, вот здесь он однажды услышал и ощутил, как «вползают в землю щупальцами корни», как «мир произрастает из первозданной матери – воды».

В ту предвоенную пору здесь была окраина Иванова. Неподалёку был южный аэродром, потому и названия улицам давали соответствующие – Авиационная, Аэродромная, Лётная, Южная. Здесь, на 1-й Авиационной, в 30-е годы большая семья Майоровых ставила дом. «Парадом» командовал, конечно же, отец, Пётр Максимович. Помощниками у него были старшие сыновья – Алексей и Иван. Находилось дело и Николке – поднести доску, подать инструмент, присмотреть за младшими – Шуркой и Витей.

Переднюю часть дома Пётр Максимович срубил заново, благо дело это знакомое, всю жизнь с топором в руке. На заднюю же пошёл старый и обжитой домишко, перевезённый из деревни Павликово, что на Владимирщине.

Наконец сдвоенный дом глянул на улицу застеклёнными окнами. Крыша над головой есть, можно жить.

Как-то так получилось, что трава перед домом Майоровых не росла: её с весны выбивали десятки ребячих ног. У каждого из братьев нашлись друзья-приятели, которые и ошивались целыми днями у дома. Здесь, на лысом пятаке, играли в лапту, в «попа-гонялу», здесь же прутиками и щепками мальчишки постарше чертили в пылу споров геометрические фигуры и формулы, ну а вечерами – затевались танцы под гармошку.

Братья жили дружно, были компанейскими и смекалистыми. Другие бы родители давно пресекли этот вечный галдёж под окнами – Пётр Максимович и Федора Фёдоровна думали иначе: хорошо, что дети на виду.

Иной раз в кругу семьи, наблюдая, как сыновья старательно корпят над учебниками и тетрадками, разложив их на столе и подоконниках, отец похвально говорил в усы:

– Учитесь, мальчишки, учитесь... Жизнь такая приходит, что без науки этой ни шагу скоро не шагнёшь. Что вот мы с матерью – два неучи... Я-то ещё у дьячка малость поучился, а она... Ишь, расписаться и то не может. Дело ли?

Федора Фёдоровна помалкивала, улыбаясь каким-то своим тихим мыслям. Была она человеком молчаливым и вроде неприметным в доме. Не любила и с соседками язык чесать. Но за немногословием скрывался недюжинный характер, крепкая крестьянская сметка и «житейский» ум. Так что при решении важных семейных вопросов её слово было не последним, а скорее решающим. И хозяйство она вела как надо. Дети всегда были накормлены, обстираны, одежонка заштопана, в доме прибрано и выскоблено.

Из детей она больше других любила Николку. Может, потому, что с мальства разглядела в нём характер, такую же задумчивость и молчаливость, но и твёрдость слова и решений, и свою же щепетильную аккуратность.

– Ну что, мать, улыбаешься? – поднимал брови Пётр Максимович. – Не так говорю?

— Так, отец, — кивала она. — Только я и неучёная-то, когда ты в германском плену был, вон каких сынов подняла. — И любовно оглядывала Алексея и Ивана. — А было бы их, как нонче, пятеро, и пятерых бы...

— Да уж, покормил я за три года-то германских вшей, — настраивался на волну воспоминаний Пётр Максимович. — К концу-то плена сорок пять килограммов весил. Аж шатало... А хуже голода и вшей, скажу вам, унижение... неволя... Сидим, бывало, с горемыками-солдатиками на нарах и толкуем: как же так, Россия наша чуть ли не на полмира раскинулась, а Германия-то супротив её — этакинькая... как воробей против орла. А вот, поди ж ты, не германец, а мы, русские мужики, колючей проволокой по рукам, по ногам повязаны. Да разве это дело? И ведь не скажешь, что трусы, что не храбры были... Только почему-то и немчуры завсегда больше оказывалось, и вооружение у них справней, и выучка...

Мучили солдата старые воспоминания, занозой в сердце сидела уязвленная гордость, боль за Россию. И откуда ему было знать, что всего через несколько лет с тем же германцем, но ещё более сильным, оголтелым и жестоким предстоит биться насмерть его сыновьям.

В плен Пётр Максимович попал в 1915 году, а вернулся домой, в деревню, уже в восемнадцатом. Деревня голодала. И поднялся из родного гнезда солдат, и жену поднял, решив ехать в Поволжье, где, как говорили, хлеба вдоволь. Там и осел на время, плотничая по деревням, где под Сызранью, в деревне Дуровке, и родился третий сын — Николай.

В Иваново Майоровы перебрались уже в 1929 году, вслед за Алексеем и Иваном, уехавшими учиться.

Город той поры походил на большую строительную площадку. По соседству со старыми мануфактурами начали подниматься новые корпуса, строился водопровод, прокладывались трамвайные пути, возводилось здание областного драматического театра, многоэтажные жилые дома... В эти же годы активно насаждался атеизм, а православные храмы закрывались или попросту взрывались. Поводы были разные — «имея в виду требования рабочих и трудящихся», перепланировка улиц города, с целью строительства на данном месте Дома Советов.

Конечно, люди были рады, что кончилась гражданская война, что страна начала потихоньку вылезать из разрухи, огорчало лишь уничтожение церквей. Впрочем, тем, кто распускал языки, его быстро прищемляли.

Алексей, уже отслуживший в армии, уезжает учиться в трёхгодичную лётную школу в город Энгельс. Ивана потянуло к фабрике, и он, закончив рабфак, поступил в текстильный институт. Ну а младшие пока бегали в школу.

У окраин свой уклад жизни, свои уличные законы и проблемы. Поминки — так честь по чести, проводят в последний путь всем миром. Свадьба — и

гуляет вся улица. Но подчас рядом с рабочим человеком тут уживался и всякий сброд. Это отребье – порождение голодных лет, разрухи и беспризорщины – разворачивало подростков, насаждало свои нравы, тянуло к картам, к пьянству. Братьев Майоровых всё это почти не коснулось. Видели они, как отцу, работавшему плотником на фабрике, трудно было содержать такую большую семью. И ничего, что обновки были редкостью, что младшие, как правило, донашивали то, что не годилось старшим, или щеголяли в перешитом. Главное было – учиться, познать мир, приобрести специальность, помочь отцу и матери. Позднее, вспоминая своё детство, Николай напишет:

Забудем то, что полюбилось людям.
 Уйдём туда, где ветер да столбы,
 где лес просорос до берега. Забудем
 весь этот мир отчаянной гульбы.
 Извечных просьб, сплошных недомоганий,
 мир мелких выгод, духоты квартир.
 Забудем скучу у подъездов зданий,
 где мы встречались часто. Новый мир
 иных высот и помыслов распахнут –
 возьми его и ощущи на вес.

Или такое:

Косых полатей смрад и вонь.
 Икона в грязной серой раме.
 И средь игрушек детских конь
 С распоротыми боками.
 Гвоздей ворованных полсвязки.
 Перила скользкие. В углу
 Оглохший дед. За полночь – сказки.
 И кот, уснувший на полу...

 Так шло, врывалось в память детство,
 Оборванное донага.

Всё это, конечно же, подсмотрено в тех же городских, но и как бы деревенских улочках. А в эту жизнь врывались события, поражавшие мальчишеское воображение: эпопея «Челюскина», рекорды Алексея Стаханова и ткачих Дуси и Маруси Виноградовых, бесспадочный перелёт Чкалова, Байдукова и Белякова через Северный полюс в Америку.

Парнишку с фабричной окраины настойчиво манил этот новый, большой мир, лежавший за порогом отцовского дома. С чем придёт он в него? Но пока Коля и сам не знал этого. Пока он мало чем отличался от своих сверстников, и так же, как к родителям его приятелей, прибегала к Петру Максимовичу иная тётка и на всю улицу «честила» его Кольку за разор огорода или оборванные яблоки.

В одном из неопубликованных стихотворений, сохранившемся в архиве Владимира Жукова, Николай писал в 1936 году:

Я знал про всё – про мёд в чулане.
Я знал про каждого клопа,
Про петуха, про таракана,
Про масть соседа-жеребца.

.....
Я рвал штаны на частоколе,
Цыплят соседских убивал,
И за верёвку в диком поле
Собаку дохлую таскал.

Это о той, как мы говорим, детской жестокости. Но рядом же – и жалость к деду, который собрался в дальнюю дорогу:

Ему я подал в руки посох,
Потуже подвязал суму.
И дед пошёл сырым откосом
В дожди, в туманы, в бурю, в тьму...

.....
Кляня прошедшего затеи,
Я славлю новую любовь,
Лишь об одном, друзья, жалею,
Что дед не возвратился вновь.

Больше всего вопросов человек задаёт в детстве. Иногда ответы на них можно отыскать самому, на другие ответят мать, отец, братья, учителя, книги. Но сколько же таких, на которые никто не может дать ответа. Почему, например, фабричные трубы с парусами дыма похожи на мачты кораблей? Почему облака «точно белые чьи-то рубахи»? Почему рядом существуют правда и ложь, прекрасное и безобразное? Почему?.. Почему?.. Вместе с этими бесконечными вопросами в сердце Коли входило удивление, желание разобраться в противоречиях жизни, понять поступки людей. А подчас он удивлялся, казалось бы, простым и понятным вещам – голубизне неба, округлости яблока, лёту птиц, способности человека видеть, слышать, думать, страдать, созидать... Это стихийное, всеобъемлющее удивление могло родить либо учёного, либо художника. Он стал поэтом.

Есть жажда творчества,
Умение созидать,
На камень камень класть,
Вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать.
Вставать до звёзд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
Идти с собой, с своей эпохой вровень
И воду пить из тех целебных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склониться на подрамник,

Весь мир вместить в дыхание одно,
 Одним мазком весь этот лес и камни
 Живыми положить на полотно.
 Не дописав,
 Оставить кисти сыну,
 Так передать цвета своей земли,
 Чтоб век спустя всё так же мяли глину
 И лучшего придумать не смогли.

Он любил лежать «в траве, желтеющей у вишен», слушать, как падают с деревьев литые яблоки, а земля отзывается на этот дар радостным вздохом. Ему казалось, что он слышит, как всё это земное, живое: деревья, кусты смородины и малины, эта вот трава – торжествует от терпкого и хмельного сока жизни.

Но иногда в тихую и размеренную жизнь улицы врывались события трагические. Однажды неподалёку от города разбился самолёт. Бегали с мальчишками смотреть. Искорёженная машина, гибель лётчиков потрясли Николая. Потом были похороны на Успенском кладбище...

О, если бы все с такою жаждой жили!
 Чтоб на могилу им взамен плиты,
 Как память ими взятой высоты,
 Их инструмент разбитый положили
 И лишь потом поставили цветы.

В те минуты он наверняка думал и о судьбе старшего брата Алексея, учившегося на лётчика. И хотя иногда вот так, как у тех погибших пилотов, заканчивается жизнь авиаторов, он всё же завидовал брату, его мужеству, возможности покорять стихии, высоту. Вообще тема Высоты в любом деле характерна для его творчества.

Нам ремесло далось не сразу –
 Из тьмы неверья, немоты
 Мы пробивались, как проказа,
 К подножью нашей высоты.

Или:

Куда ни глянь – сплошные травы,
 Любая боль была горька.
 Для нас, нескладных и упрямых,
 Жизнь не имела потолка.

Это – любовь

Её зовут... Впрочем, не в имени дело. Она принадлежит к числу тех людей, которые тихо несут в глубине сердца память о прошлом.

Передо мной сидела немолодая уже женщина – жена, мать, бабушка. Пряталась, маскируясь, в волосах беспощадная седина. В глазах – усталость и грусть. Но в прямом твёрдом взгляде, в спокойном благородстве

лица угадывалась недюжинная сила и воля человека, много испытавшего в жизни, умение владеть собой. Эти умные глаза, видимо, видели в те минуты через годы – и его, и себя – юную ещё, красивую, гордую и, что греха таить, знатную, что многие мальчишки почли бы за честь понести из школы её портфель. Но час её первой любви ещё не пробил, хотя обязательно должен был пробить, скоро, вот-вот...

Зимние каникулы. Школьный вечер. На тёмных стёклах искрами, как звёздочки, вспыхивают блёстки инея. Там, за окном, мороз, сугробы, редкие скрипы шагов, а здесь – свет, шум веселья, бумажные фонарики, запах ёлки...

Но вот на сцену поднимается девушка-конферансье:

– А сейчас стихи собственного сочинения прочитает Николай Майоров.

В дешёвеньком костюме, со старательно наведёнными на брюках стрелками, он стоит перед залом и молчит: ждёт, когда стихнет шум. Наконец, поднял голову и глухо уронил:

– Стихотворение называется «Осень». – Чуть помедлил и начал читать:

Кончался август. Ветер в груши
бросал предутреннюю дрожь.
И спелый голос грустно слушал,
как серп жевал сухую рожь.

Рябины красными кистями
свисали ниже над землёй.
Качались ивы над домами,
заплакав ржавою слезой.

Но с каждым днём всё холодало.
Темней и глуше день от дня.
И осень рыжим одеялом
покрыла тощие поля...

Рука его рубит воздух. Губы смешно, совсем по-детски, складываются трубочкой. Завораживающая музыка стиха льётся в притихший зал.

Ещё и ещё читал Майоров, а зал каждый раз отзывался аплодисментами и требовал: «Ещё!»

Вновь играла музыка, кружились пары. Только на минуту осталась она одна, без подружек, как рядом оказался Николай.

– Слушай, домой вместе пойдём.

– Хорошо.

И, уже глядя ему вслед, заполошно подумала: «Что это с нашим комсомольским секретарём?.. Хочет поухаживать... или... Может, какую ошибку сделала в стенгазете и устроит выволочку... Или, может, не надо было помещать карикатуры? Коля Шеберстов так здорово нарисовал. Да нет, Майоров всегда понимал юмор...»

Удивительно, но до восьмого класса он был как-то незаметен среди ребят. Тихий, стеснительный, а что пишет стихи, – вообще никто не знал. Но когда начали издавать в классе рукописный журнал «Ростки», вдруг оказалось, что Майоров незаменим в этом деле – быстро так зарифмует... И сочинения писал лучше всех в классе.

Долго шли молча. Пересекли Негорелую, затем улицу 10-го Августа и Нижегородскую, а тут вот и – Московская.

– Хорошие стихи ты сегодня читал, – похвалила она.

– Не надо, – поморщился он. Помолчал и добавил: – Странная штука: прочитаю вот так, на народе, и вдруг почувствую, как плохо написал, вяло как-то... Картиночка, не более. И слова не те. Надо бы, знаешь, как... Чтобы движение было, чтобы чуялись запахи и жизнь чтобы клокотала. Вот у Есенина: «Несказанное, синее, нежное... Тих мой край после бурь, после гроз, и душа моя – поле безбрежное дышит запахом мёда и роз». Слышишь? Вот как надо.

– У тебя, Коля, по-моему тоже неплохо про то, как ветер в груши бросал предутреннюю дрожь... Зримо.

– Да, почему-то зимой мечтается о весне, о лете, а летом наоборот – о чистом снеге, о ядрёном морозе. Есть тут какая-то закономерность.

На той стороне улицы из-за сугробов посверкивали окнами дома. Пошёл снег. Тихий, бесшумный. Пора было прощаться.

– Постой, – остановил он. – Я хотел сказать тебе... Знаешь... я тебя люблю...

Сделал было шаг к ней, но поскользнулся и упал. Она засмеялась, а он поднялся и, пряча смущение, сказал:

– И я у ваших ног...

(«С тех пор мы стали вместе ходить из школы домой. Московская улица, где я жила, вливается в 3-ю Лежневскую, которая пересекает 1-ю Авиационную, его улицу... С ним было очень интересно. Оказалось, что он много знает, был необыкновенно начитан, знал наизусть много стихов. Вначале я поражалась этому. Потом привыкла и уже считала, что так и должно быть. А вот сейчас понимаю: он был на голову выше любого из нас, не по годам развит, И это – я знаю! – досталось ему непросто. Как часто он жаловался на нехватку времени! Он был интересным собеседником, мог чуть ли не часами читать Есенина, Блока, Пастернака, Асеева... И любил, как он сам выражался, – «весомые слова». Стихи в нём жили постоянно. Однажды он, помню, спросил: «А что если написать – «Безумный инок плакал за оградой»? Казалось, у него каждый день расписан по минутам. Работоспособность у Николая была колоссальная... С кем дружил? Самыми близкими его друзьями были наши одноклассники Костя Титов и Коля Шеберстов. Каждый из этой троицы был сам по себе незауряден. Константин впоследствии стал профессиональным драматическим актёром, а Шеберстов –

художником. К этим талантливым ребятам тянулся и более младший по возрасту Владимир Жуков, тоже пробовавший тогда писать стихи».)

Представить эту троицу друг без друга действительно было невозможно, так же как представить их грустными, унылыми. Там, где были два Коли и Костя, постоянно звучал смех, решались какие-то мировые проблемы, что-то низвергалось, разыгрывались уморительные сценки. Признанным «смехачом», был, конечно, Титов. Не только ребята, но и учителя нередко говорили, качая головой: «Нет, Титов, тебе в театр надо...» И не подозревали, что он в самом деле станет актёром. В частности, он долго работал в Рижском русском драматическом театре.

Когда у ребят появлялись деньжата, друзья совершали обход книжных магазинов. Заходили в один, перебирали томики, рассматривали иллюстрации, взглядывали на цены. И вдруг Костя обращался к продавщице с проникновенно-каверзным вопросом:

– Будьте настолько любезны, скажите, а не получали ли вы в последнее время стихи Майорова?

– Майорова? Не знаю такого поэта.

– Ну что вы! Это известный молодой поэт, можно сказать, восходящая звезда...

– Впервые слышу, юноша.

– Костюха, перестань, – тихонько шептал Коля, пихая друга в бок.

Но того невозможно было остановить уже.

– Майоров это... ну, если не рядом с Пушкиным, то... Это нечто языческое, поэзия овеществлённых образов...

Николай чувствовал, как жаркая кровь заливает лицо, он поворачивался и стремглав выбегал из магазина.

На улице он набрасывался на Костя:

– Слушай, брось ты свои штучки... При всём народе...

– Ничего, Никола, не дрейфь. Пусть привыкают к твоему имени, – успокаивал Титов. – Когда-нибудь ты будешь и в самом деле знаменитым.

Заходили в следующий магазин. И всё начиналось сначала.

– Хватит, – не на шутку уже сердился Николай. – Это уже не смешно. Придумай что-нибудь поновей.

– Всё, всё! Мир и дружба! – соглашался Костя и вновь устраивал спектакль в очередном магазине. Тут уж Николай не выдерживал и заливался таким хохотом, что на глазах у него навёртывались слёзы.

Через много лет Константин Григорьевич скажет о нём: «Он необыкновенно любил смеяться, а я, видимо, был потешным комментатором... Николай в таких случаях заливался до кашля. Более непосредственных и несдержаных в смехе людей я не встречал ни до, ни после. Кстати, эта Колина и моя слабость не раз приводила к катастрофе на уроках. Я “поддавал”, а Николай, невзирая на опасность быть выгнанным с урока, заливался, краснея и кашляя при этом до слёз. Разумеется, мне это доставляло наслаждение».

И вот в жизнь Николая ворвалась любовь. Первая, юношеская, самая необыкновенная. Она ошеломила его, наполнила окружающее романтическим светом и смыслом. Друзья вначале подшучивали, а потом поняли: это серьёзно. А Коля, едва расставшись с девочкой из своего класса, уже с нетерпением ждал следующего утра, когда вновь увидит её.

Я был высок, как это небо,
Меня не трогали цветы.
Я думал о бульварах, где бы
Мне встретилась случайно ты,
С которой я лишь понаслышке,
По первой памяти знаком –
Дорогой, тронутой снежком,
Носил твои из школы книжки.
Отклиknись, что ли!
Только ветер
Да дождь, идущий по прямой...
А надо вспомнить –
Мы лишь дети,
Которых снова ждут домой,
Где чай остыл,
Черствеет булка...
На твоей стороне
Так снова жизнь приходит к нам
Последней партой,
Переулком,
Где мы стояли по часам...

Однажды он подарил девочке с Московской улицы тетрадку со своими стихами. И радостно забилось у неё сердце, когда на первой же странице прочла: «Скажи мне, ветер: не встречал ли девушку, как песенка моя?»

Прошла целая жизнь, но как часто видит она этого несколько неуклюжего, высокого и угловатого юношу с обычным, в общем-то, лицом. Девушки обычно проходят мимо таких, внешне заурядных, парней: широколицый, нос чуть вздёрнут... Вот разве только глаза – серые, с зеленоватыми искрками на дне, и такие горячие, что казалось, у Николая всегда держится высокая температура, да ресницы – чудесные пушистые ресницы. И душа! Огромная, возвышенная, летающая под облаками.

Я тоже вот рассматриваю его фотографии и всё больше склоняюсь к тому, что внешне он чем-то похож на Василия Макаровича Шукшина.

На это несоответствие внешнего и внутреннего образа Майорова обратил позднее внимание и Михаил Кульчицкий. И попробовал нарисовать его портрет:

Лицо откопанного неандертальца,
Топором сработанный синий взгляд.
Он бросает из конокрадых пальцев
Свой голос – как пеньковый канат.

Портрет этот, конечно, гиперболизирован и как бы смешён («синий взгляд»). Но ведь написан он поэтом, который не копирует, а трансформирует оригинал сообразно своему видению.

Он всегда хорошо учился. Не любил бросать слова на ветер. Был честен. Прям. Не щадил чужого самолюбия, когда речь заходила о поэзии. Ребята, бывало, ершатся, спорят до хрипоты, а он сидит в сторонке, поглядывает и молчит. А когда просили его высказаться, говорил доказательно, убеждённо, и к этому, вроде, нечего было уже добавить.

Однако со временем друзья стали замечать, что девушка с Московской как бы начала сторониться Николая. И не потому, что прошла пора той первой влюблённости. Нет. Всё чаще она ощущала непонятное недомогание. Врачи вынесли приговор: базедова болезнь. Ушла в себя, замкнулась.

Николай嘗試ался ободрить её, говорил:

— Перемелется. Помнишь, как я «куринкой» болел? Ты же знаешь, Шурка меня и в школу провожал, и встречал. Перемололос же. Врачи мне тогда так и говорили: «Витамина А недобираете, молодой человек. Ешьте больше сливочного масла, овощей, фруктов...» Ешьте!.. Может, и ты чего-то не добираешь?

Она пожимала плечами и торопилась уйти.

Трещинка, появившаяся в их отношениях, неприметноширилась, расползлась.

А тут пришла пора прощаться со школой.

Николай решил поступать в Московский университет, на истфак, ибо он, как вспоминал Владимир Жуков, «поэтом быть не собирался, считая, что писателем может быть только человек по-настоящему талантливый, такого рода, к какому себя не причислял». Может, и так, может, и не собирался. Только ведь он уже был поэтом, пусть начинающим, ещё неокрепшим, но — поэтом. Его юношеские стихи были во многом подражательны, и он сам чувствовал это. Однако в них уже звучал и его собственный, майоровский, голос.

А в том, что он решил поступать на истфак, а не в Литературный институт, немалую роль, думается, сыграли мнения отца и братьев. В рабочей семье ценился человек твёрдой профессии — плотника, ткача, инженера, учителя...

(«Забыла. Меня всегда поражали его руки — удивительно изящные, руки интеллигента. Точно такие же руки были у его отца — плотника. Странно, как их не измяли, не изломали ни топор, ни рубанок. И сам Николай, насколько мне известно, никогда не чурался физического труда».).

Нет, нет, — университет, истфак...

2.

«Это были незабываемые дни, — будто вновь слышу я его голос. — Я — студент знаменитого Московского университета...»

Я вижу, как полнятся радостью его глаза, как вспыхивают в них зеленоватые огоньки, а мягкая улыбка теплит губы, и лицо Николая начинает светиться.

«... Казалось, в душе моей без умолку, день и ночь играет оркестр. Хотелось каждому встречному рассказывать о своём счастье... Ну, конечно, по слухам зачисления устроили в общежитии пир. По коридорам ходили весёлые ребята, иногда кто-нибудь забредал к нам в комнату, и мы щедро предлагали гостю испить «целебный напиток» – мою любимую мадеру. А потом, уже на правах студентов, бродили по университету, где каждый камень отмечен печатью истории, хранит следы великих сынов России – Радищева и Грибоедова, Лермонтова и Сеченова, Герцена и Тимирязева... Как магическое заклинание, повторяли мы слова Михаила Ломоносова, что должно «привести вожделенное течение в университеты, откуда могут произойти бесчисленные Ломоносовы». А? Каково? – «привести вожделенное течение»! И ведь привели, и произошли... Десятки, сотни воспитанников университета могли бы сказать о себе стихами Николая Платоновича Огарёва:

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,
Мы в жизнь вошли с неробкою душой,
С желаньем истины, добра желаньем,
С любовью, с поэтической мечтой,
И с жизнью рано мы в борьбу вступили,
И юных сил мы в битве не щадили.

И мы, тоже готовы были низвергать устаревшее и открывать новое, нам страшно хотелось ко всему приложить свои руки и мысли, хотелось как можно больше знать, хотелось работать, любить, творить – и всем этим утверждать и умножать то, что было сделано нашими гениальным предшественниками. Именно в те дни я написал:

Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами,
Глаза мои обращены на всех.

Писалось тогда легко и много. Я вдруг почувствовал, как мир раздвинулся передо мной, а горизонт – необъятен. Хотелось писать стихи, такие стихи и такие находить слова, чтобы они были пропитаны живой жизнью, чтобы они жгли сердца, волновали. Кое-что из написанного ранее нравилось моим новым друзьям, но я чувствовал: до сих пор я только нащупываю свой путь в поэзии, нащупываю интуитивно, полагаясь на чутьё и, так сказать, на свой лирический восторг. В Москве появилась возможность учиться. Вот почему, параллельно с занятиями в университете, я стал посещать ещё семинар Павла Антокольского в Литературном институте. Учёба, книги, споры, поэтические вечера,очные бдения над стихами, университетская многогранка – вот мои московские будни. Писал в газету не только стихи. Были

и статьи... О Шота Руставели... о Грановском... А как-то написал статью «Работать с литературным активом»...»

– Да, да... Я помню: «Редакция должна организовать для своих студентов постоянную учёбу, где бы они глубоко изучали литературу и теорию литературы...»

«Вспомнил встречу с поэтом Ильёй Сельвинским... Разве, говорю, нельзя такие встречи проводить чаще? И вообще, пусть Союз писателей выделит руководителя для работы с лягактивом многотиражки...»

– Учиться, учиться...

«Конечно! Хотелось охапками хватать знания...»

– Ты уже не знаешь, а Павел Григорьевич Антокольский потом вспоминал... Да вот... вот сейчас... «На семинаре в Литинституте часто появлялся в качестве гостя студент-историк, скромный, неразговорчивый, серьёзный Николай Майоров. Стихи его поражали чувством глубокой связи с прошлым русской земли, с веками борьбы и труда русского рабочего и деревенского люда... Он увидел как бы со стороны самого себя и поколение, к которому принадлежал, увидел исторически...

«Может, и так. Но обольщаться было рано, я был ещё не мастером, а подмастерьем».

– После твоей гибели Антокольский написал письмо твоему отцу. Вот оно: «Глубокоуважаемый Пётр Максимович! Спасибо Вам, дорогой, за отклик на статью о Вашем замечательном сыне. Я горжусь тем, что немного способствовал сохранению памяти о нём, и глубоко надеюсь, что этим дело не кончится: мы, его друзья, старшие и младшие, будем ещё собирать оставшиеся от него стихи и обязательно добьёмся, чтобы их напечатали.

В тот же день, что я получил Ваше письмо, пришло ещё одно – от гражданки Ирины Пташниковой, которая хорошо знала Николая; она прислала одно его прекрасное стихотворение...

Низко кланяюсь Вам и матери Николая, вашей жене.

Ваш Павел Антокольский. 28 декабря 1956».

Николай закрывает глаза, опускает голову и угрюмо думает о чём-то.

Через какое-то время я вновь решаюсь заговорить с ним.

– Много сделали для сохранения памяти о тебе и твои друзья. Владимир Жуков и Виктор Болховитинов, твой товарищ по университету. Они по стихотворению, по четверостишию, по строчке собирали твою первую книгу «Мы», а потом и вторую – «Мы были высоки, русоволосы...» Добрые слова в воспоминаниях и статьях говорили о тебе Сергей Наровчатов, Андрей Турков, Михаил Луконин, Николай Глазков, Николай Банников, Михаил Львов, Даниил Данин, Ирина Пташникова...

По строчкам образ твой слагая

Каким же он остался в памяти людей, знаяших его, в памяти друзей и товарищей?

Владимир Жуков: «Будучи в Москве, он не порывал с родной школой. В стенной “Литгазете” всё так же появлялись его стихи, только уже не от руки написанные, а три или четыре стиха в газетных вырезках из университетской многотиражки, литотдел которой редактировал в ту пору “замечательный парень Виктор Болховитинов”».

Виктор Болховитинов: «Мы стали друзьями. Николай писал очень много. Как одержимый. Писал на лекциях, в читальне... А после каникул возвращался из Иванова прямо-таки “переполненный” стихами. Вечером мы забирались на чердачную лестницу старого университетского здания, и Коля читал новые стихи... Он рос на глазах, как сказочный богатырь... И теперь я горжусь, что когда-то первый подписал в набор его стихи, пусть это была всего лишь университетская многотиражка».

Динил Данин: «... Когда осенью 1938 года в одном из старых университетских зданий на улице Герцена собралась на первое регулярное занятие студенческая литгруппа, Коля Майоров был незаметен в пёстрой аудитории. Будущие биологи и географы, химики и математики, физики и историки читали свои стихи. И все уже что-то знали друг о друге. Помню, как из разных углов раздались уверенные голоса:

– Пусть почтает Майоров, истфак!

И он встал где-то сбоку, этот “Майоров, истфак”, и начал читать. Крепко стиснутым кулаком он словно бы расчищал живой мысли стихотворения прямую дорогу через обвалы строф. И сразу стало очевидно – это будет “первая ракетка” в поэтической команде университета...

... Он поразительно не был похож на поэта... Ничего завидного во внешности, ничего впечатляющего, что заставило бы на улице оглянуться прохожего...

Незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком... Он легко возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии был резко определён. Он не любил в стихах многоречивой словесности, но обожал земную веществность образа... Он был весь обещание...».

Николай Банников: «Осенью или зимой 1937 года впервые подошёл я к Николаю Майорову и познакомился с ним. Был я на курс старше Николая, никаких обычных студенческих дел у меня к нему на тот момент не было. Я подошёл к нему как к поэту: задели, привлекли, запали в душу его стихи, появившиеся в университетской многотиражке. Скоро мы знали друг друга уже близко, нас связывало многое».

«... Он говорил чуть окая, глуховато, неторопливо... Крепкий, довольно высокий паренёк с угловатыми плечами, удивительно скромный, но и твёрдым чувством внутреннего достоинства, по-своему очень серьёзный, верный на слово товарищ. Был необычайно работоспособен... Эта его деловитость и собранность была тоже очень органичной, внутренней, в ней не

было ни малейшего привкуса суетливости или нахрапа. Никогда не высказывал вперёд, не захватывал инициативы, не старался блеснуть попусту...».

Сергей Наровчатов: «Мне запомнилось, как он читал стихи на встрече двух литкружков – университетского и гослитиздатовского. Николай представлял МГУ и был как бы центрфорвардом своего коллектива (употребляя футбольную терминологию). Мы – П. Коган, А. Яшин, М. Кульчицкий, Б. Слуцкий и я – знали о Майорове понаслышке, отдельные строки были нам знакомы, но общего впечатления ещё не было. И мы с ревнивой настороженностью встретили его появление: мол, бахвалятся МГУвцы или впрямь заполучили хорошего поэта?

И вот на середину комнаты вышел угловатый паренёк, обвёл нас деловито-сумрачным взглядом и, как гвоздями, вколотил в тишину три слова: “Что – значит – любить”. А затем на нас обрушился такой безостановочный императив – и грамматический, и душевный, – что мы, вполне привыкшие и к своим собственным императивам, чуть не растерялись.

Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И всё ж любить её – такую!

“Такую” – он как-то резко и в то же время торжественно подчеркнул.

Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.

“А ведь хорошо!” – уронил сдержаненный на похвалу Яшин. Майоров глазом не моргнул на первую реплику, пробившую атмосферу настороженности. Стихи неслись дальше:

Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Её «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм зачатье,
Нащупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.

Две эти последние строки меня покорили, и я ударил кулаком по столу. Майоров только покосился в мою сторону и продолжал обрушивать новые строки...

Майоров читал в тот вечер ещё “Отелло” и “В вагоне”. Когда в “Отелло” он прочёл:

Ей не понять Шекспира и меня! –

мы заулыбались, но уже влюблённо заулыбались – он стал нам близок, этот ивановский мавр. Мне запомнилось, как он произносил “женщина”. Вместо “щ” у него выходило “ч”...

Типичен как будто он и в одежде, манере держаться. Чинёные башмаки, дешёвый костюм, распахнутая рубашка...

... Сам он пролетарского происхождения никогда не подчёркивал и уж совсем не кичился им. В этом чувствовалось некое внутреннее целомудрие».

Борис Слуцкий: «На рисунках Майоров более похож, чем на фотографиях. Лобастый, высокий и русоволосый, глядящий прямо в глаза, сдержанnyй, молчаливый (кажется, самый молчаливый из всех поэтов того немногоглагольного времени), напряжённый, очень добрый...

... Невозможно представить людей, более чужды лести и фразёрству, некритическому преклонению перед всякого рода авторитетами, чем Коля Майоров и его товарищи...

... У него была сложившаяся манера. Он меньше искал в форме, в технике, чем его товарищи... Майоров был по нашим тогдашним меркам – «классик», традиционалист, ямбист. Бури Хлебникова, гудевшие в проводах молодой поэзии, его не задели. У Маяковского ему была ближе поздняя, державная, а не ранняя, бунтарская интонация».

Михаил Львов: «Я очень любил Колю Майорова. Он был сильней меня. Сказать: завидовал – будет неверно. Я обожал его и любил его стихи, доныне помню их наизусть.

Мы часто ходили – плечо в плечо – по Москве, он читал мне свои стихи, стихи могучей жизненной силы, и я чувствовал вдобавок к тому, что восхищался стихами, трепет юношеской привязанности и верности к более сильному товарищу, абсолютно настоящему во всём...»

Николай Глазков: «Помню солнечный майский день 1940 года. При журнале “Молодая гвардия” существовало литобъединение, собиравшееся раз в неделю. Помню, молодые поэты, которые очень не любили, когда их называли молодыми, читали свои стихи. В тот солнечный майский день читали стихи многие поэты. Большинство из них демонстрировало незаурядную поэтическую технику. Стихи слушались с интересом, но не трогали. Чего-то им не хватало.

Одним из последних выступил Майоров, истфак университета – так его представили. Меня его стихи захватили, увлекли: у него в стихах было то, чего явно не хватало другим. Стихи Майорова подкупали своей жизненной правдой....

В тот майский день я подошёл к Коле Майорову, и мы познакомились. Я не утерпел и сказал, что стихи его гораздо лучше, чем стихи... следовал перечень имён. Но Коля не поддержал меня, перевёл разговор на другую тему/

мои восторги были ему почему-то неприятны. Позднее, подружившись, узнав его хорошенько, я понял, что эта скромность была ненаигранной.

Коля Майоров не любил шумихи, охотно читал свои стихи одному, двум, трём товарищам, но не стремился покорять аудиторию. Ему было чуждо тщеславие...

Коля Майоров жил удивительно просто и скромно. Он не щеголял ни ярким галстуком, ни новым костюмом, чурался всего показного, избегал громких фраз. Он был человеком огромной жизнерадостности. Умел восхищаться искренне, по-детски...»

Если суммировать все эти характеристики, то перед нами предстанет скромный юноша, приехавший из фабричного Иванова не покорять столицу, а учиться, впитывать знания, обогащаться культурой, не ошеломлять сверстников пока ещё скромными, как он считал, а на самом деле уже и сильными, стихами. Он больше слушал, чем говорил, больше впитывал, чем поучал. А уж если говорил, то говорил основательно, хорошенько подумав и взвесив. Это был как раз тот случай, когда встречают по одежке, а провожают по уму.

Набирал высоту он стремительно. Уже в сороковом году Николай рассуждает о литературном творчестве как профессионал. В одном из писем Ирине Пташниковой он пишет: «Всё больше и больше убеждаюсь, что я – реалист. И хотя знаю, что к трагедиям Расина, Корнеля и того же Шиллера надо относиться с уважением, но меня раздражают такие пошловатые выкрики Фердинанда, как “союз наших сердец” и пр. пр. Я понимаю, что старик Шиллер в этом не виноват. Это определялось временем и тогдашними вкусами. И обвинять шиллеровских героев в их пошло-избитом любовном словаре – это всё равно, что обвинять их в том, что они носили парики. Но всё-таки я не могу без раздражения слышать о “союзе наших сердец”, да ещё и “союзе вечном”...»

В разное время, но товарищи Николая по университету В. Болховитинов и А. Немировский вспоминали о майоровских «Стихах о снеготаяльщике», которое он им читал. Видимо, это, действительно, было неординарное стихотворение, если оно запомнилось.

Александр Немировский, учившийся вместе с Николаем на истфаке, впоследствии профессор, рассказал об этом так: «Живущему в общежитии, “на людях”, иногда хочется побывать одному. Коля брал ключи от моей комнаты на улице 25 Октября, что рядом с ГУМом. Это было недалеко от истфака, где мы учились, и там ему никто не мог помешать – волею судеб я жил один. Из огромного “венецианского” окна открывался тесный двор, сквозь железные ворота был виден клочок улицы. Здесь возникла идея одного из недошедших стихотворений Майорова “Снеготаяльщик”. Весна, снег тает и исчезает с московских улиц, и люди, которые убирают снег, затосковали. Они идут в пивную... говорят о семье, о мироздании, о бренности всего зем-

ного. В памяти Виктора Болховитинова, нашего общего, ныне ушедшего из жизни друга, остались две последние строчки:

Но умирать им рано:
Ещё не выпал их последний снег.

А я запомнил обстоятельства создания этого стихотворения. В январе сорок первого года я получил тройку по педагогике. Это означало – лишение стипендии и необходимость поиска работы. Коля мне подсказал, что ребята из общежития подрядились убирать снег и два раза уже получили зарплату, хотя за лопату не брались – январь того года в Москве был бесснежный. Мысль об этой (впрочем, несостоявшейся) работе вылилась у меня в строчку:

Ещё не выпал наш последний снег.

Но как ни мучился, стихотворение не получалось. Я поделился неудачей с Майоровым. Его реакция была неожиданной:

– Отдай мне её!

Прочитав на моём лице недоумение, он сказал:

– Очень прошу. Понимаешь, очень».

Видимо, тот вид из окна, какие-то мысли об этой случайной работе, которой пробовались студенты, люди без определённых профессий, а то и молодые творческие люди, и вот эта строчка товарища как-то состыковались, возбудили мыслительный процесс, и стихотворение, как любил говорить Владимир Жуков, загудело в нём. К тому же, ещё в 1937 году Николай написал стихотворение без названия. Литературовед Борис Куликов посчитал, что из него были взяты многие детали для «Снеготаяльщика». Возможно, и так, но стихотворение было совсем о других людях. В архиве В. С. Жукова нашлось то давнее стихотворение. Вот оно:

Мы пиво пьём за мраморным столом, –
Последние актёры, подлецы, бродяги.
За жёлтым в палец толщиной стеклом
Кружится с ног сбивающая влага.
Она мутит и ходит ходуном.
В нас блажь вошла
И каждый снова хочет
В такие ночи спаивать вином
Весёлых управдомовских дочек.
Уже оркестр ушёл
И мы допели песню,
И наш сосед уж захмелел слегка,
А мы сидим, уйда по плечи в кресла
И тянем злую мудрость табака.
Теперь мы оплещивели, как осень,
И баки не по моде – до виска,
Мы галстуки ещё на шее носим,

Чтоб нас швейцар за столик допускал.
У нас сейчас желание простое:
О мирозданы рассуждать в тепле, —
Судьба приста. Табак раздумья стоит,
Пока пивные кружки на столе.
Мы будем пить. Пока ещё не поздно.
Пока ещё мы трезвы все. Пока
На счёт не ляжет искупленьем грозным
Официанта грязная рука.
Тогда мы встанем, отряхнём с коленей
Остатки раков, пепел и лузгу.
А что нам — ночь?
Она ничто в сравненьи
С изъянном рваным в холостом мозгу.

Мне представляется, что это всё же фрагмент какой-то большой вещи, которую обдумывал Николай, может быть, поэмы о художниках? Нам известно, к примеру, стихотворение «Рембрант», где есть такие строчки:

В таверне дым, в кармане ни флорина.
Рембрант ногтями стукает о стол,
Любяся переливами графина,
Косым лучом, упавшим на подол
Красотки милой. Пиво на исходе.
Матросы просят рома, ну, а ром...

И так далее.

Заметим: и в первом стихотворении — кафе, пивная или таверна, и здесь — тоже. Там — пиво, и здесь. И размер, ритмика... Да и не видел я в России, чтобы «снеготаяльщики», или попросту — дворники, ходили при галстуках и при баках.

А, может, и то, и другое — заготовки к поэме «Ваятель», которая не дошла до нас? Кто знает?

Но и по этим поэтическим зарисовкам видно, какую плотность, вещественность, весомость, зримость и детализацию приобретало письмо Николая Майорова. Слова и образы, действительно, как бы ощущимы на вес.

Или другой пример. Как говорят Колины друзья, была у него большая поэма «Семья» — о старой деревне, дореволюционной ещё. И хотя стихотворение «Зов жизни» вроде бы и звучит как самостоятельное, — думается, что это тоже фрагмент какой-то большой вещи.

Был долг бабий блуд на сеновале.
Пока чернело небо без стрижей, —
ворочались, потели, целовали
в тупые переносицы мужей.
А мужики лежали как пласти, —
дневная ноша плечи им растёрла.
Тяжёлые нательные кресты,
как тараканы, выбились на горло.

Сквозь крышу шёл густой полынинный запах,
и прежде чем отдаться вдоволь сну,
не торопясь, кузнец в тяжёлых лапах
сжимал и тешил глупую жену.

Так мнёт горшечник розовую глину,
склоняясь над ней, как древний ворожей.

Так парни тащат за полночь к овину
бесстыжих хуторянок от мужей.

... Дорога шла вразвалку от села
за рожь, в кусты, в душистые осины.

Там девка парня статного вела,
в глаза глядела, за виски брала
и рассказала о звёздах не просила.

А ночь кружила их заросшей сечей,
глухим оврагом, спутанной травой –
в такую ночь нельзя было не лечь им
вблизи берёзы старой и кривой.

А что услышишь в тишине такую:
то ли влага бьёт в суху,
то ль тетерева токуют
в ночь такую на току?..

Мощь-то какая, сила-то!

Но почему же при жизни Николая Майорова, уже немало сделавшего в поэзии, имевшего довольно внушительный для его возраста литературный багаж, было опубликовано всего несколько стихотворений, да и то преимущественно в многотиражной газете?

Одни утверждают, что якобы кто-то посоветовал Николаю не спешить с публикациями. Другие объясняют это его скромностью, чуть ли не отсутствием тщеславия. Трети придерживаются мнения, что стихи его «выбирались из потока складных, но легковесных виршней», заполнявших тогда журналы и газеты.

Я не верю, что Майоров не хотел печататься. Иначе, зачем ему надо было предлагать стихи в ту же многотиражку, отсыпать в Иваново для школьной «Литгазеты»? А с какой гордостью, с каким, видимо, ликованием он написал на уголке сборника «Парад молодости», вышедшего в издательстве «Физкультура и спорт»: «Авторский. Ник. Майоров. 1940 г.» В этом сборнике было напечатано одно-единственное стихотворение Николая – «На реке». Неважно, что одно. Но ведь напечатали! Да ещё рядом с произведениями таких поэтов, как В. Маяковский, В. Лебедев-Кумач, А. Жаров.

И эта его радость понятна, потому что естественна. Каждому человеку, работающему творчески, вне зависимости от степени мастерства, свойственно утверждать свой взгляд на мир, свою трактовку происходящего в нём, свой взгляд на человека. Художник всегда обращается к людям, от них ждёт он оценки своего труда. И – будь он противником всяческих политических партий и течений – он всегда идеолог, ибо утверждает какие-то идеи, мысли, точку зрения.

Нет, Николай хотел печататься. Однажды он, сопровождаемый школьными друзьями, отправился в редакцию областной газеты «Рабочий край». Ребята остались ждать на улице, а Николай решительно ступил на порог редакции. Можно представить, как он волновался, какие мысли одолевали его, когда он остался один на один с кем-то из журналистов, с каким страхом ждал приговора литературного сотрудника, которому вручил заветную тетрадку.

Когда же вновь предстал перед своими верными болельщиками и почитателями, постарался придать лицу спокойное выражение.

– Ну, как? – шагнули к нему те.

– Вроде бы понравилось, – пожал он плечами. – Только, говорит, не газетные у меня стихи... А-а, перемелется!..

Делал он попытки напечататься и в Москве. Тот же А. Немировский вспоминает о таком эпизоде: «Я хорошо помню, как ждал Колю Майорова на улице у редакции “Знамя” в 1940 году и как через полчаса он вернулся, нет, не расстроенный, а взволнованный, непримиримый, с измятой тетрадкой стихов. Помню и другое, как пятнадцать лет спустя я сидел перед редактором в той же редакции, с той же тетрадкой стихов Майорова. У редактора дрожали руки, когда он читал когда-то отвергнутые строки. У меня бешено колотилось сердце. Стихи ждали своего времени и дождались его».

Конечно, будь Николай понастойчивей, погибче, «поконъюнктурнее», он мог бы полюбоваться некоторыми своими стихами, оттиснутыми типографским способом. Но этих черт у него не было. Он был человеком гордым, не умеющим приспосабливаться, не желавшим писать и переделывать стихи сообразно чужим вкусам. В его стихах то ровно, широкой грудью дышала земля, то блистали молнии и шумели ливни страстей. Печатать в то время такие стихи было хлопотно. Легче похвалить юношу и сказать: «До свидания!»

Николай, внешне спокойный, уравновешенный, был, как все поэты, художники, человеком ранимым, обидчивым, легковозбудимым. Но сильнее обид была его любовь к поэзии, вне которой он не мыслил своего существования.

В последние годы на него, несомненно, огромное влияние оказывало глубокое и заинтересованное изучение прошлого и настоящего России, размышления над её ролью в развитии человечества. Поэтому-то всё чаще в его стихах гудит ветер истории, ему под силу становятся философские обобщения, всё уверенней звучит его гражданский голос. Но он, прежде всего, – поэт своего времени, и Николай стремится выразить это время. На первый взгляд это так просто, но – чрезвычайно сложно! Подступы к этому видны в ряде его стихотворений, но в последний предвоенный год он пишет наконец своё программное – «Мы».

Есть в голосе моём звучание металла.
 Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым.
 Не всё умрёт. Не всё войдёт в каталог.
 Но только пусть под именем моим
 Потомок различит в архивном хламе
 Кусок горячей, верной нам земли,
 Где мы прошли с обугленными ртами
 И мужество, как знамя, пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.
 Нам не хватало неба и воды.
 Упрямой жизни в каждом человеке
 Железом обозначены следы –
 Так в нас запали прошлого приметы.
 А как любили мы – спросите жён!
 Пройдут века, и вам согнут портреты,
 Где нашей жизни ход изображён.

Мы были высоки, русоволосы.
 Вы в книгах прочитаете, как миф,
 О людях, что ушли не долюбив,
 Не докурив последней папиросы.
 Когда б не бой, не вечные исканья
 Крутых путей к последней высоте,
 Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
 В столбцах газет, в набросках на холсте.
 Но время шло. Меняли реки русла.
 И жили мы, не трята лишних слов,
 Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
 Да в серой прозе наших дневников.

Мы брали пламя голыми руками.
 Грудь раскрывали ветру. Из ковша
 Тянули воду полными глотками
 И в женщину влюблялись не спеша.
 И шли вперёд, и падали, и, еле
 В обмотках грубых ноги волоча,
 Мы видели, как женщины глядели
 На нашего шального трубача.
 А тот трубил, мир ни во что не ставя
 (Ремень сползал с покатого плеча),
 Он тоже дома женщину оставил,
 Не оглянувшись даже сгоряча.
 Был камень твёрд, уступы каменисты,
 Почти со всех сторон окружены,
 Глядели вверх – и небо было чисто,
 Как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть не точны слова,
 И слог тяжёл, и выраженья грубы!
 О нас прошла всесветная молва.
 Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.

И, как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

Я всегда воспринимал это стихотворение как манифест советской эпохи. Мне виделись меж строк и революция, и гражданская война, и финская, и предстоящая Великая Отечественная... Вероятно, такое же чувство это стихотворение оставляло и у других. И вот однажды я задал себе вопрос, который почему-то не приходил мне в голову раньше: «А что Майоров-историк, Майоров-гражданин, чьё взросление и становление пришлось на 30-е годы, что – разве он не знал о политических процессах этого времени, о массовых репрессиях, о ГУЛАГе, от которых потаённо стонала страна? Почему ничего этого нет в его стихах, хотя бы намёка? А может, они, эти намёки, глубоко запрятаны? И что, если «Мы» прочитать под этим углом зрения...»

Стихотворение написано в 1940 году. Вот во второй строфе он пишет: «Где мы прошли с обугленными ртами И мужество, как знамя, пронесли». Ну, во-первых, – у Майорова эта вторая строчка звучит иначе: «И костили, как знамя, пронесли». На это указывает правка (от руки), сделанная Владимиром Семёновичем Жуковым в его экземпляре книги Н. Майорова «Мы были высоки, русоволосы». А на листке, вложенном в неё, Жуков пояснил: «Собранный в основном мною, рукопись Майорова проходила в печать тую. Приходилось приспосабливать её под требования тогдашней жёсткой цензуры. Даже в этом стихотворении пришлось ослабить майоровскую строку: вместо «И костили, как знамя, пронесли» поставить: «И мужество, как знамя, пронесли». Чтобы спасти стихотворение в целом. И таких правок, к сожалению, не одна».

Костили – как знамя? Почему человек, получивший ранение, скажем, на гражданской войне, должен нести костили, как знамя? Не представляю. Не понимаю. Не верю. Другое дело, если он искалечен в лагере, в результате пыток... Вот – его не сломили, и он, в знак своей моральной победы, поднимает костили, как знамя. В это верю. Представляю. Понимаю.

И вновь я спрашиваю себя: «Ну, хорошо, – «обугленные рты», «костили» – о чём это, к какому времени относится? На дворе 40-й год. Может, это о Финской кампании, как называли ту войну? Она закончилась в марте 1940-го. Может, о ней? Но она проходила, в основном, в зимнее время – солнцем, жарой не могло обуглить солдатские рты. Может, морозом? Может.

А вот эти строки: «Нам не хватало неба и воды», «Пройдут века, и вам согнут портреты, Где нашей жизни ход изображен», «Чтоб к вам прийти

лишь в пересказах устных Да в серой прозе наших дневников», «Почти со всех сторон окружены, Глядели вверх – и небо было чисто...»

Почему советским людям не хватало неба и воды? Мы же пели: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». А тут – и небо с овчинку, и жажда мучит.

Почему «согут портреты, Где нашей жизни ход изображён»? Что – на портретах в газетах и журналах мы улыбаемся, веселимся, радуемся счастливой жизни, а на самом деле портреты лгут? Так, что ли? Или речь о тех портретах членов ЦК и правительства, которые вырывались из учебников или перечёркивались, как портреты «врагов народа»?

Мы прекрасно знаем, что о стройках пятилеток, о победах и рекордах советских людей в то время широко писала пресса. Тогда почему «мы» сохранимся лишь «в пересказах устных Да в серой прозе наших дневников»? Кто эти люди, о которых нельзя громогласно говорить, о которых нельзя писать, и что о их жизнях мы можем только узнать из потаённых «серых» дневников?

И почему – «Почти со всех сторон окружены»? Кем или чем? Врагами, стражниками, забором с колючей проволокой?

Конечно, все эти предположения можно почтеть за измышления, попытку натянуть на стихотворение уродливую маску. Мне не хотелось бы этого делать. Но вопросы-то остаются, сомнения-то остаются. Я уверен, что в московской студенческой среде, тем более, в среде будущих историков, не могли не говорить о репрессиях сталинского режима, о тоталитаризме, о политических процессах...

Накануне

«Добрый день, Костюха!

Шлю тебе хороший, по-зимнему свежий привет.

Конечно, эти “приветы” – стандартная вещь во всех письмах. Но, Костюха, этот привет – особенный, искренний, от сердца... Получил твоё письмо 12-го вечером. В комнате сидят ребята, разговаривают. Нет-нет да по коридору мимо нашей комнаты пронесётся двойка-тройка разбужившихся студентиков... Иногда ворвутся к нам в комнату, а у нас – орёт радио... Одному грузинцу – Хубулаве – пришла посылка из Тбилиси. Мы, конечно, “могучей кучкой” окружаем своего внезапно ставшего всеми уважаемым сожильца... Уже сквозь обшивку слышим запах чего-то восточного, “цветистой чайханы”, смотрим, различные фрукты, по комнате внезапно проносится душистый запах, такой приятный... В дверь почему-то врывается мальчик: лет под 19 и девушка... Хубулава начинает их потчевать. В конце концов уходят. Время позднее. Ребята уже все на койках. Свет выключен... Но никто не спит. Впопыхах каждый орёт о своём. Вскоре некоторые умолкают, но по-прежнему с некоторых коек слышен хруст молодых зубов: фрукты

кончаются... Вот мы и уснули. Завтра первый день шестидневки. Первые два часа – физкультура. Около нас проходит ленинградский поезд. Утром в 8 ч. 15 мин. садимся на метро и катим в Сокольники. Вся наша брага. В Сокольническую лыжную базу...

16-го пойду на вокзал встречать брата Алексея из Иванова. С ним сходим на "Ленин в Октябре". Здорово, говорят, Щукин играет! А 17-го в Коммунистической аудитории МГУ концерт Игоря Ильинского. Читает "История одной болезни" и др. Думаю с братом сходить. Костя, вот какое дело: я могу на такие вещи бесплатно попадать, потому что они проходят в аудиториях университета...

Теперь перехожу к главному вопросу. Костюха, я думаю, что ты ко мне тоже крепко привязался. Ведь, чудак, мы дружим с тобой так, как никто. Это также верно, как то, что я тебя люблю, понимаешь, люблю общение с тобой, наш тонкий "дипломатический" разговор о личных лирических моментах. Я тебе говорил, чтобы ты в последний раз смотрел на партии, на класс – это неповторимо, как неповторимы наши 17 лет! Помнишь, какого характера ты писал либретто для неопубликованных и даже ненаписанных опер. А как донимали разных Задворновых и Абраш... (Александр Абрамов – одноклассник Майорова и Титова. – В. С.). Ой, хлопец, быть какая хорошая, но уже туманом повитая: "Опанасе, Опанасе..." и т. д.

Ты, наверное, не забыл студии радиокомитета.

А то, бывало, пойдём по улицам, так же хорошо знакомым, как знакомы свои... тетради...

Живём, Костюха, – живём. В том, Костька, и радость, чтобы мучиться и терзаться. Одно помни:

Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!..

Не знаю, приеду ли на каникулы, но хочется увидеть тебя, по знакомым улицам под руку с тобой ядрёным зимним вечером пройти...

Костька, если приеду, то – чур! У меня – пир устроим – и впредь не постыжусь прямо заявить любому подлецу и сплетнику: – Да, я её люблю, мучительно люблю! И ты – веришь, ты меня знаешь... Вот она, Костька, грудь моя – свидетельница этой странной любви... Я люблю её и любил так, как думаю, никого не буду любить... Я высоко ценю её – она редкий, хороший человек. Пусть – она не виновата, но я – тогда я виноват?.. Но, Костька, поверь во всю мою искренность и любовь к тебе, что моей вины нет... Я ей писал, но что же, если она мне целый месяц не писала, вдруг присыпает 10 куцых строк и мотивирует своё молчание: "... так, что-то не хотелось писать..."

Нет, Костька, тут и ты бы головой об стол стал биться...

Но и после этого – я смиренен. Я молчу, терзаюсь, не упрекаю...»

На этом письмо обрывается.

Постороннему человеку оно покажется местами сумбурным, непонятным. Но не следует забывать, что это очень личное письмо другу. Подобные письма подразумевают часто то, что известно только двоим, и как раз они хороши именно тем, что писались без поправок и оглядки на непосвящённого.

Примечательна стилистика и экспрессия письма. Здесь те же «императивы», о которых говорил Сергей Наровчатов. Они – голос страстной, мятущейся души, живого темперамента и жизнелюбия. А девушка, о которой в нём речь, – ясно же, та, с Московской улицы.

Ту улицу Московской называли.
Она была, пожалуй, не прямая,
Но как-то по-особому стояли
Её простые, крепкие дома.
И был там дом с узорчатым карнизом,
Купалась в стёклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющего в глаза.

В этот дом в Иванове часто приходили письма из Москвы. В них были откровения, рассказы о студенческой жизни, о литературной работе, были строчки стихов. А рядом слова любви, слова любви и мольба, отчаяние. Ему так хотелось, чтобы они вместе сберегали свою любовь. Но письма её были редки и скучны.

И всё же приезда Николая на каникулы она каждый раз ждала с волнением. Иногда им казалось, что всё осталось так, как прежде. Но ненадолго.

Однажды Николай показал ей фотографию девушки, с которой учился в университете. Это была фотография Ирины Пташниковой. Почему показал? Наверное, хотел пробудить ревность. Наверное – потому что чувствовал: девушка с Московской улицы отдаляется всё дальше и дальше, уходит, исчезает из его жизни...

Ирина Пташникова: «После лекций, которые бывали обычно с утра, в первой половине дня, университетское студенчество, мы, историки, в частности, ходили обедать в какую-нибудь из ближайших столовых, чаще всего в Огарёвку. А после обеда занимались до позднего вечера, обычно до их закрытия, то есть часов до 10, в читальном зале на мехмате – на 3-м этаже старого здания университета или в Горьковской читальне под куполом – там же, на Моховой.

Вот здесь, на мехмате, я и познакомилась с Колей Майоровым: наши места в читальне оказались случайно рядом. Впрочем, “познакомились” сказано не очень точно: мы с Николаем знали друг друга раньше, были в одном практикуме, в одной языковой группе и к тому же были соседями по общежитию, но знали друг друга внешне, со стороны, не проявляя интереса. А тут нашли общие интересы, как-то легко разговорились. И возвращались

из читальни домой уже вместе. Темой нашего разговора были чьи-то стихи, напечатанные в университетской газете».

День ото дня новое чувство крепло. Так в жизнь его вошла другая. Но в нём всегда жила и память о первой любви, хотя к воспоминаниям о радостных и светлых днях постоянно примешивалось чувство досады, не заслуженной обиды, уязвленной мужской гордости.

А в воздухе планеты всё сильнее пахло порохом. В памяти у Николая ещё живы были рассказы брата Алексея о боях на Халхин-Голе, тревожные военные сводки из Западной Европы наполняли газеты. Не успокаивали и полные оптимизма заголовки: «Западные рубежи ССС неприступны», «Советские лётчики развеют в прах любого врага», «Если завтра война...». А рядом – сообщения о захвате Гитлером Австрии, о Мюнхенском говоре, об оккупации Чехословакии, о вторжении в Польшу, о бомбовых ударах по Англии.

Чутьё историка подсказывало Николаю, что война с гитлеровской Германией неизбежна, весь вопрос – когда. Именно в это время он читал друзьям стихотворение, в котором, в частности, были строки:

Где-то в германской Туле
Для меня отливают пулю.

Однажды Николай ворвался в комнату, потрясая газетой.

– Нет, вы послушайте... Это же чёрт знает что за демагогия!

Ребята вопросительно уставились на него.

Николай хлопнул по газете:

– Тридцатого января Гитлер произнёс речь. – Обвёл глазами друзей, развернул газету: – Послушайте, послушайте... – И начал читать: – «Очень часто говорят о том, что мы могли бы разрешить все спорные вопросы путём переговоров. Разве я не предлагал неоднократно разрешить путём переговоров вопрос о германских колониальных требованиях? Какой же мы на это получили ответ? Только “нет”, только отклонение наших требований и новые выкрутасы. Таким образом, сегодня Германия политически имеет свободный тыл. Второй задачей тысяча девятьсот тридцать девятого года была задача обеспечения тыла и в военном отношении. Надежда английских военных экспертов на то, что наша борьба против Польши будет продолжаться не менее чем полгода или год, была уничтожена мощью наших вооружённых сил. Государство, которому Англия дала свои гарантии, исчезло в течение восемнадцати дней с карты Европы, так и не увидев выполнения обещанных гарантий...»

– Сколько наглости, фанфаронства, цинизма!

– Брось, Коля, буржуи дерутся – мы крепче. Пусть их! – заметил кто-то.

– Пусть их? – взорвался Майоров. – Да понимаешь ли ты, садовая голова, что там гибнут люди, ни в чём не повинные, такие же, как ты, я... Гитлер

же к России подбирается. Неужели не ясно? СССР – вот где он видит своё жизненное пространство.

- А пакт о ненападении?
- Пакт? – Николай хмыкнул: – Хм! Пакт, конечно... Только...

Но тут уже вмешался Хубулава:

– Бросьте, ребята, спорить. Скажи-ка лучше, Николай, может вот такой джигит понравиться хорошенькой девушке? – И протянул Майорову свою фотографию.

Майоров машинально взял её. Невидящим взглядом воззрился в неё, думая о чём-то своём, и вдруг раздражённо бросил фотографию на стол:

- Слушай... тут серьёзный разговор, а ты со своими шуточками...
- Какие шутки, дорогой? Это моя физиономия, портрет, личность. А ты – шутки! Может, и ту карточку, которую я подарил тебе, может, ты и её вот так же, псу под хвост швырнул?
- Да нет, что ты, – храню, – смутился Николай.
- О це-цэ, не верю!
- Ну, честно. Помню даже надпись...
- А ну, ну...

Николай на секунду задумался, улыбнулся и процитировал: «На память моему лучшему другу из университета Николаю Майорову от Климентия Хубулавы. Москва». И дата.

– Помнит, головастик! Помнит! Два года прошло –помнит!

Ребята заулыбались.

– Ну её к бесу, политику, – загорелся Хубулава. – Почитай лучше стихи. Что-нибудь про любовь, а?

Николай пожал плечами. Понял: у ребят лирическое настроение. Обвёл глазами товарищей, откинул пятерней волосы и, не отрывая взгляда от газеты на столе, начал негромко читать:

Я не знаю, у какой заставы
вдруг умолкну в завтрашнем бою,
не коснувшись опоздавшей славы,
для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
уминая, вспомню... и опять –
женщину, которую утына
так и не успел поцеловать.

Было слышно, как за окном шумит огромный город. Хубулава тихонько взял лежавшую рядом с газетой свою фотографию и как-то недоверчиво, будто в чужое, взгляделся в своё лицо на ней.

– И вот такого парня... Не верю! – Махнул рукой. – Читай, пожалуйста, ещё.

– Давай, Коля! – поддержали ребята.

Тот не заставил себя долго упрашивать.

Случайно звёзды не украл дабы
какой-нибудь праздный гуляка,
старик никому не давал трубы,
её стерегла собака.

Голос у Николая заметно потеплел.

Был важен в службе хозяинский пёс,
под ним из войлока тёплый настил.
Какое дело кобелю до звёзд
и до прочих небесных светил?
А небом старик занимался сам –
ночью, когда холдеет воздух,
он подносил его ближе к глазам
и рылся в ещё не остывших звёздах.
Мальчишки понять не могли, засыпая:
что ищет в небе старик-ворожей?
Должно быть, ворота небесного рая,
а может быть, просто пропавших стрижей?
Он знал его лучше, чем тот квартал,
в котором живёт, занимая флитель.
Он звёзды, как годы, по пальцам считал –
о них он напишет умные книги.

Николай легонько коснулся плеча Клима...

А парень, на небо взглянув некстати,
клялся, теребя у любимой ручонки,
что завтра сошьёт он из неба платье
и подарит его глупой девочонке.

Хубулава только головой покачал.

А девушке – что?
Ей приятна лесть.
Дышит парень табачным дымом.
Она готова не пить, не есть,
только бы на звёзды глядеть с любимым.

Майоров сделал паузу, и вдруг в его голосе зазвенели металлические нотки.

Старик не думал, что месяц спустя
в сырьем убежище, где-то в подвале,
куда его силой соседи прогнали,
услышит, как глухо бомбы свистят.
... Рядом труба лежит без охраны:
собаку убило осколком снаряда.
Тот парень погиб, говорят, под Седаном,
и девушке платья теперь не надо.

Майоров подошёл к окну, посмотрел на московское небо, послушал мирные, будничные голоса города и грустно закончил:

А небо – в плену у стальных ястребят,
трамваи ищут, укрыться где бы...
О горе, стариk, когда у тебя
украли целую четверть неба!

– Ты гений, Коля! – вскочил Хубулава. – Обыкновенный гений. Поверь, дорогой, придёт день, и я с гордостью буду рассказывать сыновьям, что ты, что я...

Но его уже не слушали. Ребята загалдели, разговор вновь перекинулся к военным событиям в Западной Европе. Серёжа Дружинин вспомнил, что у него в тумбочке лежит вырезка из газеты с изложением новогоднего воззвания Гитлера. Достали её, начали читать:

– «Германский народ не желал этой войны. До последней минуты я предлагал Англии германскую дружбу. После того, как польская проблема была решена, я сделал предложение о гарантированном мире в Европе.

Но западные державы не отступили от своих планов уничтожения Германии. Эти господа заинтересованы в войне. Следовательно, они её получат. С самой первой фазы конфликта появились два момента: во-первых, они не посмели совершить наступление на линию Зигфрида; во-вторых, всюду, где германские солдаты померились силами со своими противниками, они прославили германские войска и германское оружие.

Пусть тысяча девятьсот сороковой год принесёт решение. Германская нация никогда не допустит того, чтобы преступники Версаля вновь господствовали над ней. Мы имеем ясную цель в нынешней войне: Германия и вся Европа должны быть освобождены от постоянной угрозы насилия...»

– Что он мелет? – возмутился Хубулава. – Сам насилиничает, захватывает чужие земли и выдаёт это за освобождение от насилия. Сколько народов поработил... У нас в Грузии говорят: если у человека нет своих крыльев, то и с чужими не быть ему крылатым.

– «... от постоянной угрозы насилия, – продолжал читать Сергей Дружинин, – которое исходит как от старой, так и от новой Англии. На сей раз нужно вырвать оружие из рук поджигателей войны и тех, кто объявляет войну...»

– Нет, он обычный жулик!

– Гитлер силён, – заметил Николай. – Он знает это, потому и наглеет. Вот как он разговаривает с англичанами. Из этого австрийского высокочки буквально прёт прусское хвастовство. История повторяется. Вспомните восемьсот шестой год. Тогда немцы тоже кричали, что они соль земли, что их армия лучшая в мире и пора проучить корсиканца. Это был разгул хвастовства. Пруссия называлась ни больше ни меньше как Давидом, который поразил французского Голиафа. Первого октября, если помните, в ответ на ultimatum Фридриха-Вильгельма III Наполеон перешёл границу, а двадцать восьмого октября он вступил в Берлин. И бургомистр прусской

столицы целовал кобылу корсиканца... Страшно хочется, чтобы кто-нибудь дал Гитлеру по сопатке...

На летние каникулы Николай приехал в Иваново уже четверокурсником. Можно было вновь спать в саду или на сеновале в сараюшке, слушать, как стучит по крыше дождь и плутает меж кустами и деревьями ветер, как лают на задворках собаки, а где-то далеко-далеко, словно в заоблачном мире, играет радио... Казалось, Николай и Костя дня не могут прожить друг без друга. Иногда, Костя, не оставлявший мысли поступить в театральное училище, просил друга послушать, как звучат в его исполнении отрывок из Гоголя или стихотворение Багрицкого. А потом Николай, в свою очередь, читал другу свои новые стихи...

Но чем дальше катилось лето, тем чаще Николай вспоминал об Ирине. Иной раз, не успев отправить одно письмо, он уже садился за другое.

Однажды он попросил друга, собравшегося укатить на велосипеде домой (надо же и родителям показаться), бросить своё очередное послание в почтовый ящик. Однако, Костю в пути настиг сильный ливень, и письмо не было отправлено.

Наутро было солнечно. А под окном у Титовых уже называли велосипедный звонок. Николай имел привычку не слезать с седла, пока не удостоверится, что друг дома. Пристроился у липы и позванивает.

Едва Костя вывел из калитки свой велосипед, как Коля предложил:

– Давай, Косюха, махнём в парк. Там сейчас тишина, может, и искупаемся...

И друзья покатили, на ходу перебрасываясь шутками. Настроение у Николая было приподнятое, и Костя заметил:

– Письмо, что ли, получил?

– Точно. Как догадался?

– Да у тебя ж оно на лице отпечатано. Вчера квёлый был, задумчивый, а сегодня, как солнышко, сияешь.

– Чудесное письмо написала Иринка... Да, а моё-то ты вчера отправил?

– Побойся бога, ливень такой был... Так в книге и лежит.

– Ты уничтожь его, я уже другое отослал.

К счастью, то письмо не было уничтожено. Костя забыл про него. Годы и годы лежало оно в книге, ждало своего часа.

Вот оно, письмо из 1940 года.

«Милая Ярынка, здравствуй!

Пишу одно письмо вслед другому. Прости, что я так долго заставил тебя ждать моих писем, но раз я уже начал – значит, жди длительной и планомерной бомбардировки Вашего почтового ящика.

Ну, живу плохо. Особенного буйства не проявляю. И не только потому, что абсолютно отсутствует “целебный” напиток, а просто, видно, годы отошли.

ли. Становлюсь мудрым и молчаливым, как Будда. Часто бывает страшно ск-у-чно. Но, как ответил у Пушкина Мефистофель скучающему Фаусту:

Что делать, Фауст?
 Таков вам положен предел,
 Его ж никто не преступает.
 Вся *тварь разумная* скучает:
 Иной от лени, тот от дел;
 Кто верит, кто утратил веру;
 Тот насладиться не успел,
 Тот насладился через меру,
 И всяк зевает да живёт –
 И всех вас гроб, зевая, ждёт.
 Зевай и ты.

Вот как – видишь! Мефистофель человеческий род на вечную скучу обрекает. И всех нас он именует вежливо словами – “разумная тварь”.

Очень соскучился по тебе – скоро ли опять увидимся, моя коханая? Хотется увидеть тебя, обнять и крепко – так, чтобы губам было больно – поцеловать. Чувствую, что одно спасение – в работе. Когда занимаешься чем-либо, то меньше думаешь. Ярынка, ты хоть почаще, милая, пиши: ведь когда прочитаю твоё письмо, такое чувство, будто я только что возвратился от тебя. Вот жду всё твоего письма, как ты приехала и что думала, не застав дома писем от меня, – но нет, ты всё почему-то медлишь с письмом. “Когда же конец трагедии?!”

Вчера был в саду (летний сад отдыха молодёжи. – В. С.), видел некоторых знакомых своих. Когда-то с ними в таком ладу жили, а вот сейчас чувствуется какая-то разобщённость, отчуждённость. Некоторые из друзей уже пожелали “жизнь ограничить семейным кругом” (Пушкин!).

Вчера же в саду наблюдал следующий интересный эпизод. Со мной сидел хороший приятель, он учился со мной в одной школе, писал стихи (и сейчас пишет), печатался в областных изданиях. Он года на 2–1,5 моложе, пожалуй, меня. Только что прошедшей осенью был взят в армию. Попал в Финляндию. Там он пробыл всё время, пока длилась война. За несколько дней до заключения мира он получил две пули, обе – в локоть правой руки. Сейчас, после лечения, прибыл из Крыма в 2-месячный отпуск. Парень похудел, короткие волосы, глубокие и как-то по-особенному светлые глаза. Видать, что человек давно не имел лирики, – он грустно смотрел на проходящих по аллее девушек. Одну из них он окликнул. Это – его первая любовь. Галя. Она подошла к нам, увидев Володьку (Владимир Жуков. – В. С.), – изобразила на лице удивление. Но тут же, словно спохватившись:

- Почему ко мне не заходишь?
- Я сегодня только с поезда.
- Да, но ты зайдёшь! (Это – с повелением.)
- Может быть.

— А я говорю — ты ко мне зайдёшь, — это она произнесла, как женщина, привыкшая встречать одобрение своих капризов. Мне стало страшно жаль Володьку. Парень измучен, только что зажила рана, он, как выразился, “всю Финляндию на животе прополз”, а тут — повелительные восклицания пустьской девушки, умеющей делать только глазки. Да надо бы человеку на шею броситься, взять его, зацеловать — он так давно всего этого не видел! А она вместо этого спокойно пошла дальше по аллее, бросив на ходу:

— Ты зайдёшь, слышишь!

И меньше думая о происшедшей (такой неожиданной!) встрече, больше любясь тем, как она сейчас выглядит. Есть же такие сволочи. Володьке сделалось неловко передо мной. Он долго после этого молчал. Так его встречает тыл! А ведь хороший и славный парень он! Всё это меня очень тронуло.

Недавно получил письмо от Сергея Дружинина. Пишет, что он приобрёл путёвку на Кавказ (с 26 июля по 13 авг.)...

Сергей после Кавказа, наверно, приедет ко мне, в Иваново. Обратно в Москву мы поедем уже вместе. Я зову Сергея в Иваново, чтобы познакомился с “сим” городом и его достопримечательностями, среди которых первое место, несомненно, занимаю я — “сплошная невидаль”...

Вот сейчас у меня сидит дома Костя. Он всё сетует на недостаток водки. Очень сожалеет, что мы вчера не нашли в парке — там был коньак.

— Коньак! — сладко причмокивает Костя. А я ко всему этому почти равнодушен. Ты ведь, Ярынка, знаешь, как я “пью”. Костя кончил счёты с Люсей. Конечно же, без боли. Грустный, но не жалеет. Я сейчас утешил его — подарил фотокарточку с трогательной надписью:

В те дни, когда не было водки

И женщины оставили нас.

Колька.

Сегодня мы с ним опять куда-нибудь поползём. Пожалуй, в кино. “Депутат Балтики”. Здесь всё идёт старьё. “Большой вальс” ещё не шёл.

Спим с Костей у него в саду, под яблонями. Прежде чем лечь, идём есть смородину и малину. Возвращаемся сырье — роса. На свежем воздухе спать замечательно: смотришь в ночное небо, протянешь руку — целая горсть холодной, влажной листвы; кругом — ползёт, шевелится, и кажется, что дышит «“свирепая зелень”, бьющая из всех расселин и пор сухой земли. И впрямь — слышно, как “мир произрастает”! Изредка на одеяло заползёт какой-нибудь жучишко. Просыпаемся от солнца, которое, проникая сквозь ветви, будит нас и заставляет жмуриться... Вот она — жизнь. Как сказал Владимир Хлебников:

Мне мало надо:
ковригу хлеба,
да каплю молока,
да это небо, да эти облака.

Иногда страшно хочется написать хорошие стихи, но пока почему-то не пишу.

На днях приезжает в Иваново Колька Шеберстов. Заставлю его писать маслом с меня портрет. Благо, хоть время незаметно убьём.

Милая Ярынка, почему нет от тебя писем. Я могу “сурьёзно” рассердиться. Тогда на тебя обрушится гнев Ахиллеса!

Пиши, как живёшь, скучно ли, как дела обстоят дома, что вообще интересного в Ташкенте.

Я пока кончаю до след. письма. Новое письмо тебе не буду писать до тех пор, пока не получу хотя бы открытку от тебя.

Целую тебя много раз и всё по-разному, но одинаково сильно. Как это было всегда.

Глаза целую, губы, волосы твои хорошие. Ну просто, Ярынка, чудесные волосы!

Твой “Колябушка”

(так она меня называла – да простит ей бог!).

25 июля 1940 г.

За подпись прикладываю свой правый перст».

И в самом деле, на полях письма – тёмный мазок, отпечаток пальца. Живой его плоти...

Вспомним стихотворение Майорова «Зов жизни». Каким языческим, грубым чувством, граничащим с натурализмом, веет от него. И вот любовное письмо. Сколько нежности, ласки, трепета в нём. Кажется, что стихотворение и письмо написаны разными людьми. И это как раз и говорит о том, что он был художником, умевшим перевоплощаться, вжиться в ту обстановку, которую изображал. Однажды на обсуждении стихов литкружковцев в Гослитиздате некто Л.Можаева бросила Николаю упрёк, что, мол, в его стихах «не чувствуется любви», что они-де почти циничны. На это Майоров ответил: «Какой же это цинизм. Я так любил. Есть озлобленность – да, есть: я груб и люблю злые стихи. Я чувствую так, как чувствует здоровый человек, со всеми его инстинктами».

Нежность – да, Экспрессия – да, нетерпение – да, но озлобленность... Возможно, он ощущал те остатки её, которую породила первая, такая болезненная, любовь?..

3

Его жизненная позиция была вполне определённа. Так и в стихах. Всегда знаешь, с кем он, против кого. Он обнажал свои чувства, обнажал беспощадно, и эта его какая-то детскость, безоглядная откровенность подкупают, обезоруживают.

Многих поражает в его стихах пророчество собственной судьбы. Но, может быть, это только юношеская поза, желание сказать посильнее? Нет, по-

зёрство всегда было чуждо ему. Тогда что же – в самом деле, дар предвидения? Ведь ещё древние греки верили, что поэт – существо, вдохновлённое музами, объявляли его «прорицателем», «пророком»...

И вновь я как бы слышу его голос:

«Во мне, действительно, жило предчувствие надвигающейся беды. Но это чувство было подсказано не ясновидением... Мистиком я никогда не был. Просто, для этого надо было реально оценивать события, происходившие в мире. Совсем рядом грохотала война. Армии, одна за другой, складывали оружие перед мощью Германии. И если бы он обрушил её на нас... Помню, какой болью отозвалась в наших сердцах гибель Коли Отрады. Он тоже не впервые ли напечатал свои стихи в том сборнике «Парад молодости»... Я часто представлял себе, как он лежит на белом, чистом снегу. И спрашивал себя: почему кто-то должен надевать шинель, зарываться в землю, стрелять и подниматься в атаку, и умирать, а кто-то в это время бегает на свидания, читает книги, ест мороженое, ходит в кино? Да вот тот же Володька Жуков... А я и пороха не нюхал...»

– Это очень трудно – говорить своему «я» правду о себе.

«Трудно. Но ведь надо. Если есть у тебя совесть, если ещё не зачерствело сердце, если остаётся гадкое чувство собственной неполноценности... Ведь не тварь же я, а человек разумный!»

– Судя по всему, ты не был трусом.

«Но и героем тоже. Это точно».

– У тебя, как мне кажется, было обострённое чувство долга, чувство неразрывной связи с народом. Это ощущается и в стихах. Честь, правда, долг – для тебя эти понятия не просто слова. За ними следуют уже поступки...

«Я был готов к ним».

– Так не в этом ли и секрет прорицания? В готовности...

Пепел войны

Николай часто писал младшему брату Шурке: приезжай, покажу тебе Москву. А тому было всё недосуг. Но наконец собрался. Взял билет на 22 июня. Ехать ему предстояло через Шую, Новки, Владимир. Мать собрала сыну фанерный чемоданчик, сработанный когда-то отцом. Для Коли в подарок положила два десятка яиц, обернула каждое в бумажку. Ну а для младшего, чтобы было что в дороге пожевать, положила большой тёплый батон. Перрон в Новках оказался переполнен людьми. Такого столпотворения Шурка ещё никогда не видел. Толпа бурлила, гудела. Все куда-то спешили. А над этим разноголосным шумом и человековращением то пролетал истошный женский крик, то зависали слова воинских команд. Мелькали узлы, чемоданы, корзины, сумки...

Но вот наконец медленно плывущий поезд остановился и в распахнутые окна вагонов хлынула страшная весть: война!

Поезд из Иванова задержали и отвели на запасной путь. Целый день через станцию шли и шли составы...

Был уже на исходе второй день войны, когда злополучным пассажирам объявили, что отправить их нет никакой возможности, что самое разумное для них – идти своим ходом до Владимира, а оттуда уже добираться на по-путных.

«Может, вернуться домой? – думал Шурка. – Всё ближе...» Да ведь только обидно: в кармане билет, и в Москву так хотелось, и вот топай во-свояси... К тому же вон сколько людей пойдёт, а до Иванова надо одному добираться.

Идти пришлось до самой Москвы. Попутные машины не останавливались перед сотнями протянутых рук. Ночевали то в лесу, то в деревнях, на вокзалах, одним словом, где придётся. Батона и яиц давно не было в по-мине. Добрались до Орехово-Зуева. В вокзальном зале ожидания Шурка устроился под стульями, нагромождёнными в углу чуть ли не до потолка. Уснуть не мог: всю ночь выкрикивались фамилии мобилизованных, под потолок взвивались команды: «Становись!.. Рассчитайся!.. Равняйся!..Шагом марш!» Уходили одни, приходили другие.

В общежитии на Стромынке его давно ждали. Николай успел обменяться телеграммами с родителями и теперь волновался: куда пропал братиш-ка?

Едва Шурка сказал дежурной, что приехал к Майорову, как та обрадо-ванно всплеснула руками:

– Нашёлся. Ну, слава Богу!

Остановила пробегавшего мимо студента, попросила проводить гостя в 520-ю комнату.

– Ну-ка, ну-ка, какой ты? – завертел мальчишку студент. – Ты смотри, какой чернявый, как цыган... Да ты ни капли не похож на брата.

Жизнь в общежитии была нервная, дёрганая: шла сессия, но разговоров было больше о войне, о фронте, о сводках Совинформбюро, о том, кто уже записался в армию, а кто собирается в военкомат, много было и разных слухов. Николаю было не до брата. Утром он провожал его до метро и говорил: «Валяй, катайся! И не вылезай до двух часов. Выйдешь на станции «Охот-ный ряд» и спросишь университет». И тот катался. До одурения. Затем до-ждался Николая и уже вместе с ним ехал в общежитие пить чай.

Иногда Николай спохватывался и рассказывал, где и что Шурка может посмотреть в Москве, рисовал маршруты, записывал, как и куда можно до-ехать.

Но скоро прошёл слух, что студентов будут посыпать копать противово-танковые рвы. Пора было гостю возвращаться домой. Поехали на вокзал, а вокзалов-то – что Ярославского, что Ленинградского и Казанского – не видать. Тьма-тьмущая людей, вся площадь запружена. Стали толкаться,

узнавать – что и как. Шурка таращил глаза, держал карманы, а ухо ловило обрывки реплик. Чего только не услышишь в таком людском море! В одном месте он поостал от Николая, услышал: «Надо дать в лапу – и билет в кармане». Догнал брата. Тот, думая о чём-то своём, буркнул:

– Не потеряйся.

– Коль, а Коль, – придержал его Шурка. – А что если дать телеграмму домой, чтобы подослали рублей двести пятьдесят?

– Это зачем? Что там тятя-то штампует, что ли, рубли?

– Сунули бы в лапу, глядишь, и билет был бы...

Николай остановился, удивлённо посмотрел на Шурку, но вдруг рассмеялся:

– Ну и ну! Фрукт ты, однако ж!

– А что?

– Вот посмотри, – кивнул Николай в сторону. – Видишь дядьку?

Ну, того, что лежит на чемоданах, в шляпе?

– Ну?

– Вот тебе и ну! У него один чемодан с барахлом, а другой – полный денег. А уехать всё-равно не может.

Шурка понял, что Николай шутит. Да и вправду, столько народу, и не безденежные же все, а уехать не могут.

Нетрудно представить, что чувствовал шестнадцатилетний мальчишка, когда на следующий день Николай, упаковывая вещи в чемоданы и плетёную, наподобии сундучка, корзину, сказал ему:

– Через два дня я уезжаю. Говорят, под Ельню нас, строить оборонительные сооружения.

– А я?

– Поживёшь пока здесь. А если достанешь билет, вот этот чемодан увезёшь домой.

Шурка прикинул в руке.

– Ой-ё-ёй, тяжёлый-то!

– Книги!

– А те куда?

– Эти отнесём к верным людям.

В корзине лежали конспекты, записные книжки, тетрадки со стихами. В другом чемодане были вещи Николая.

... Пересекли Красную площадь, потом свернули и ещё свернули. Шурке непонятно было, почему какие-то книги надо волочь в Иваново, а вот костюм, рубашки и прочее Николай хочет оставить у кого-то здесь, в Москве.

– Слыши, Кольк, давай я часы хоть домой отвезу...

Николай обнял братишку.

– Глупый ты ещё какой. Что часы? Видишь, что вокруг творится. Часы – ерунда, жизнь – вот что самое дорогое.

Наконец очутились в тихом переулке, остановились перед каким-то домом. Держась за перила, поднялись на второй этаж. Николай прошёл в квартиру, а Шурка остался на лестнице. Кому брат отдал чемодан и корзину, он не видел.

Теперь, расставшись с бытом, можно было ехать на все четыре стороны.

Ирина Пташникова: «Я очень хорошо помню этот вечер. Заходило солнце, и запад был багровым. На широком дворе одной из краснопресненских школ выстроились повзводно уезжающие на спецзадание студенты.

Помню Николая в этот момент – высокий, русоволосый, он смотрел на кроваво-красный запад широко распахнутыми глазами... Что видел он там? Судьбу поколения, так хорошо предсказанную им в стихотворении “Мы”? Может быть, именно в тот момент он особенно ясно понял это, почувствовал, что “Мы” – это стихи о нём самом, о его товарищах, что “ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы”, в бой за мир и счастье, в бой, который помешал им прожить большую жизнь и дойти до потомков в бессмертных творениях, а не только в “пересказах устных да в серой прозе наших дневников...”

Видно, и у меня в этот момент шевельнулось какое-то тяжёлое предчувствие и горестно сжалось сердце, только я бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Это была наша последняя встреча...»

Александр Немировский: «Через несколько дней после начала войны мы были мобилизованы на рытьё окопов и отправлены на Смоленщину. К Белорусскому вокзалу я шёл в колонне рядом с Майоровым. Потом был вагон, и полночи мы тряслись во мраке. Майоров что-то шептал, видимо, рождались новые стихи.

Нас высадили на каком-то полустанке. Я сбежал за водокачку и узнал название полустанка – “Снопоть”. Коля неожиданно спросил:

– А какая рифма?

– Лапоть! – откликнулся кто-то.

Потом в деревне с таким же названием мы не раз вспоминали о лаптях: наша обувь через месяц рассыпалась. Лапти могли бы нас спасти, но никто не умел плести их».

Из Москвы Шурка уехал через несколько дней после отъезда брата.

В ту ночь, когда поезд увозил его домой, в ночь на 22 июля немцы впервые бомбили Москву. За стуком колёс не было слышно отдалённых взрывов, но было хорошо видно, как там, позади, небо ощупывают десятки лучей прожекторов. Лишь после стало известно, что из двухсот вражеских самолётов к столице прорвалось чуть больше десятка.

Ивана дома он уже не застал.

Александр Майоров: «Все эти годы не выходили у меня из головы те оставленные чемоданы. Конечно, меня интересовали не тряпки, как тогда, в сорок первом, а рукописи и записные книжки. После войны, в сорок вось-

мом году, Николай Шеберстов дал мне адрес одного художника, который, по его словам, знал, где живёт Н. Друзья полагали, что именно у Н. оставили мы тогда корзину и чемодан. Адрес Н. я получил, пошёл разыскивать. Но того человека дома не оказалось, он работал где-то в другом городе, а родные Н. мне сказали, что у них никто ничего не оставлял... И что я постыдился тогда зайти в квартиру!»

Николай вернулся в Москву лишь в сентябре. Ирины там не было. Она подала было заявление с просьбой послать её на фронт, но медкомиссия не пропустила её из-за сильной близорукости. И ей ничего не оставалось, как уехать в Ташкент. Теперь их могли связать только письма.

«Ирина, здравствуй!

Недавно мне Н.Шеберстов передал твою открытку – спасибо, что ты ещё помнишь обо мне. Когда я находился на спецзадании, я почему-то не отчаялся получить от тебя письмо. Но, представь себе, всем писали, я же почти все 2 месяца не имел ни от кого ни одного письма. И ты не догадалась. Адрес же наш всему истфаку был известен. Ну да ладно – не сетую. Чем это я заслужил от тебя письмо? Конечно, ничем.

А всё-таки ждал.

В Москву прибыли 9 сентября. Я страшно загорел, окреп. Работать было очень трудно, но об этом когда-нибудь после подробнее расскажу, если удастся свидеться.

... В 418-й школе на одной двери нашёл случайно твою фамилию: ты там жила. Как был бы я рад, если бы там жила ты и сейчас!

Но я бью себя за излишнее проявление лирического восторга. В райвоенкомате прошёл медкомиссию. Ждём, когда возьмут в армию. А когда – неизвестно: может, сегодня вечером, а может, – через месяц. Я получил назначение на работу в Можайск, но это – простая формальность. Я не безногий, чтобы ехать на работу. Из Москвы выезд райвоенкоматом запрещён.

Если после войны буду жив, буду проситься работать в Среднюю Азию, – мне надо найти тебя. Когда это будет и будет ли?

Почти все ребята успели сдать госэкзамены и получить дипломы. А я – прогулял. Возможно, сдам числа 15-го, а не сдам – пусть...

Ты в открытке желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хотя ты знаешь, что в этом деле я не отличусь, но что смогу сделать – сделаю.

Ну, желаю тебе здоровья и счастья!

Живи хорошо. Целую. Ник.

P. S. Всё же смею надеяться на твоё письмо. Привет от К. Титова, Н. Шеберстова и В. Малькова, которые всегда хотели видеть, что я был вместе с тобой, а посему особенно зло лают на меня сейчас.

Я не утерплю и вслед этому письму пошлю второе».

Владимир Жуков: «Почерневший и посупровевший, с обострившимися скулами, появился Коля Майоров в Иванове... На этот раз недолго ему

довелось побывать дома. Из Москвы телеграммой извещали, что на его имя пришла повестка из военкомата...

Не без юмора обсуждали, в ботинках ехать или в полуботинках. Но юмор был наигранный. Остановились на военной форме. Вещь за вещью извлекались из сундука армейские сапоги, гимнастёрка, галифе...

Меня это крайне удивило. И я, помню, сказал ему об этом.

— Ничего удивительного. Сейчас и портняки надену, и портупею... Да ты не думай, что вперёд глядел, — говорил он, неторопливо выкладывая из сундука небогатое содержимое. — Это всё Алексея. Ты же знаешь...

Старший брат Николая — Алексей был лётчиком-истребителем и уже находился “в деле”.

Наконец, всё было найдено и надето. Я помог ему застегнуть портупею. С гражданской жизнью было покончено...»

Да, Николай прощался с мирной жизнью, прощался с родителями, друзьями, со школой, с родной улицей. На душе было тревожно. В сводках Совинформбюро было много горестного. Особенно его беспокоили сообщения об обороне Киева, где дрался брат Иван. Николай вновь и вновь перечитывал письмо брата, полученное родителями в начале сентября. Иван писал: «Сегодня ночью шёл сильный бой, особенно грохотала артиллерия — наша и немецкая, однако снаряды разрывались от нас далеко, и мы — кто мог — спокойно спали. Я ночью проверял посты часовых, ночь была ужасно тёмная, и шёл дождь, только от стрельбы орудий и от разрывов снарядов небо беспрестанно озарялось заревом.

Я от дождя промок и немножко озяб. Вообще ночи стали холодные, и спать на земле холодно. Ну, ничего — нужно со всем мириться, ко многому мы уже привыкли и спать, если приходится, везде можем. За всю войну только один раз спал разувшись — в какой-то школе, на полу была постлана солома, мы спали богатырским сном — просто шикарно.

Мы находимся на обороне города К., который должны защищать до последней капли крови — таков приказ. И мы уверены, что никогда немецким свиньям не видать этого города.

Хотя фашисты заняли несколько наших городов — это тяжело для нас, и когда читаешь газету, становится весьма тяжело, однако мы уверены, что победа будет за нами, и никогда немецким свиньям не придётся гулять по нашей земле, мы — русский народ, а тем более советский, и нас победить невозможно... Вы пишете, что Алексей находится в Монголии, а я думал, что он переведён сюда. Но и японским самураям доверять нельзя, возможно, там откроется второй фронт.

Для Алексея здесь много работы — немецкие самолёты летают часто, но наши истребители их сильно гоняют и много сбивают. Немецкие истребители нападают только на наши бомбардировщики, и то когда их много, а наших истребителей боятся, потому что наши истребители всегда навязы-

вают им бой, хоть наших мало, а немецких много – всё равно наши первые лезут и дерутся превосходно.

Николаю я писать не буду – возможно, его там уже нет...»

В тот же конверт было вложено ещё одно письмо – лично Шурке.

«Здравствуй, Александр Петрович!

Привет тебе и самые наилучшие пожелания. Письмо твоё получил, за которое благодарю тебя. Вашим письмам я весьма обрадовался – так давно не получал... Меня интересует, что ты делаешь в данное время? Неужели всё болтаешься и ничего не делаешь? Тебе уже почти семнадцать лет, в таком возрасте люди уже защищают свою Родину, проливаются кровью, а ты болтаешься и не работаешь. Обязательно поступай на работу или в школу ФЗО. В такой тяжёлый период для нашей страны каждый человек должен быть чем-то полезен своей Родине: защищать ли страну с оружием в руках, честно ли трудиться на ф-ке или заводе. Ты видишь, старик отец работает более 10 часов в сутки, а ты болтаешься. Как тебе только не совестно! Так вот, учти эти мои замечания и немедленно приступай к делу, иначе я тебе письма писать не буду и не буду называть тебя братом. Мне совестно, что у меня брат в 16 лет ничего не делает. Сейчас трудятся все – старые и малые, чтобы отстоять свою Родину от немецких фашистов.

Учи это.

На этом я кончую писать. Жду ответа...»

Николай читал и перечитывал эти письма, понимал, что, видимо, отец пожаловался Ивану и попросил поругать Шурку, боясь, что тот, без дела, может сойти с круга. Но ему казалось, что не только младшему, но и ему адресованы резкие слова Ивана, ведь он пока тоже ничем не помог Отечеству. И беспокойно было за брата. Уже начали ходить слухи, что под Киевом в окружение попали наши крупные части. Как потом оказалось, немцы перебросили в этот район свежие силы и 16 сентября перекрыли горловину «мешка», ту самую щель, через которую ещё несколько дней назад можно было выйти из окружения. Четыре советские армии оказались в кольце. Некоторым воинским подразделениям с боями удалось вырваться, но тысячи и тысячи солдат и офицеров познали горечь плена...

Однако вернёмся в дом Майоровых. Обстановка здесь была невесёлая. Пётр Максимович и Федора Фёдоровна ходили как в воду опущенные: два сына на войне, а теперь вот и третьему пришло время.

Николай, как мог, успокаивал родителей, но тщетно.

Наконец пришёл день, когда он вскочил на велосипед и поехал прощаться с друзьями. И не смог проехать мимо хорошо знакомого дома на Московской...

(«Когда началась война, я на время будто забыла о своей болезни. До себя ли было, когда такие страдания обрушились на наш народ. Как комсомолка я не могла стоять в стороне, хотелось что-то делать, чем-то помочь.

По комсомольскому призыву поехала на торфоразработки. Работали по колено в воде... Сама добраться до Иванова я уже не смогла. Меня привезли. Сделали операцию. Во время её был задет речевой нерв, я онемела. Полтора года не могла говорить. Ни слова...»).

В тот день с утра шёл нудный, изматывающий душу дождь. Хоронили бабушку. В дом на Московской приходили какие-то люди, стояли, утирали платочками глаза, уходили, а на их место становились другие. Мать и отец не хотели, чтобы дочь шла на кладбище, боялись за неё.

Лучше бы и в самом деле не ходила. Вернулась домой разбитая, опустошённая, промокшая. Перед глазами всё стояла могильная яма с ржавой глинистой водой на дне... Ей всё чудилось, что руки, лицо, волосы, вся она перепачкана этой глиной. Поставила воду на электроплитку и вымыла голову. Потом сидела у окна и смотрела на дождь, на лужи... И вдруг сквозь струйки воды на стекле увидела Николая. Он был на велосипеде.

Метнулась было к двери, но мать встала в проходе:

– Куда? С сырой-то головой... Зови в дом.

Она подбежала к окну, жестом пригласила войти.

– Нет, – покачал он головой. – У меня очень мало времени, я уезжаю сегодня... Там, в почтовом ящике, записка и фотография. Ты-то как? Не лучше?

Она покачала головой. Слёзы застилали глаза. Его лицо расплывалось.

Александр Немировский: «Последняя наша встреча произошла в Краснопресненском военкомате 15 октября 1941 года. Он хотел, чтобы его направили в Пролетарскую дивизию. Но к его просьбе не прислушались. Выйдя, мы долго бродили вокруг военкомата, а прощаясь, не сговариваясь, обменялись тетрадками своих стихов».

Прошло всего три с половиной месяца с начала войны, а немцы уже были в районе Вязьмы. Шли и шли эшелоны. И неизвестно, в какую сторону больше – с востока на запад, с вооружением и войсками, или с запада на восток – с беженцами и эвакуируемыми.

10 октября началась эвакуация предприятий и государственных учреждений из Москвы.

В эти дни к Николаю, получившему небольшую отсрочку, наведались Костя Титов и Коля Шеберстов. Болтали, по привычке шутили, но шутки были не очень весёлые.

– А знаете, ребята, – сказал вдруг Хубулава. – Давайте устроим на прощание пир...

– Пир во время чумы?

– Зачем так? Не нравится – пир, – назовём прощальным ужином. Всё беру на себя. Хотите, в «Арагви» пойдём? Я угощаю...

Хубулава не шутил. Широкая его душа, как и карман, всегда была распахнута для друзей. И он повёл компанию в ресторан.

Это было почти невероятно: где-то рядом шла война, а тут, в уютном зале, на столе стояли, казавшиеся фантастическими, нереальные закуски, бутылки с вином. Рай! Короткий, всего на несколько часов, но рай.

— Прошу всех встать, — сказал Клим, когда бокалы были наполнены вином.

Все поднялись.

— Я хочу этот тост поднять за нашего дорогого и мудрого вождя. — Он помолчал. — Тяжело сейчас нашей стране, фашисты лезут к Москве. Только запомните мои слова: не видать им её как своих ушей. Победа не за горами. За победу!

— За победу! — подхватили друзья.

Выпили по второму бокалу... Исчезли закуски. Но хорошо было сидеть в тепле, чувствовать уют ресторана, вести неторопливую беседу, строить планы, мечтать. Клим, как всегда, попросил Николая почтить что-нибудь. В это время в зал вошла группа военных, но форма у них была какая-то необычная. Это были иностранцы.

— Английские лётчики, — шепнул офицант. — Офицеры...

Англичане устроились за соседним столиком. Заметив, что привлекли внимание соседей, заулыбались, покивали студентам.

И тогда Николай стал негромко читать:

Рассвет сочился будто в сите,
когда в звенящем серебре
рванулся резко истребитель
косым движением к земле.
Пилот, в бесстрашье шансы взвесив,
хватался в спешке за рули,
но все дороги с поднебесья
к сурой гибели вели.
И с жаждой верной не разбиться,
спасая в выражах мотор,
хотел он взмыть, но силу птицы
презрели небо и простор.
Она всё тело распластала,
скользя в пространстве на крыле,
и вспышкой взрыва и металла
жизнь дрогала на земле.
... А сила ветра также крепла.
Восходом солнца цвёл восток,
и на земле сквозь дымку пепла
пробился утренний цветок.
Уже истлели тело, крылья,
но жизнь, войдя с людьми в родство,
презрев пред гибелю бессилье,
своёправляла торжество...

И дальше, и дальше читал он это, своё юношеское ещё, стихотворение. А когда Николай умолк, от соседнего столика раздались аплодисменты. Николай улыбнулся, кивком поблагодарил.

– Наш лучший поэт! – сказал Хубулава и поднял большой палец. – Во!

– Ол райт!.. Отшень, отшень... Мы лю-пим ваш Лермонтоф... Как ето...

Разлили остатки вина – себе и англичанам – и выпили за дружбу, за быстройшую победу над общим врагом...

От Советского Информбюро: В течение ночи с 14 на 15 октября положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону.

Наши войска оказывают врагу героическое сопротивление, наносят ему тяжёлые потери, но вынуждены были на этом участке отступить. За 13 октября уничтожено 36 немецких самолётов. Наши потери – 11 самолётов. По неполным данным, за 15 октября под Москвой сбито 9 самолётов противника».

Борис Слуцкий: «Был октябрь 1941 года, один из самых тяжёлых для Москвы дней октября – 16 или 17-е число.

Немцы наступали где-то у Можайска. Их ещё не удалось остановить. Кое-где над центром города падал странный серый снег, вялый, медленный. Это был пепел. Эвакуируемые учреждения жгли бумаги. Каждый час тысячи людей уходили на запад, на юго-запад, на северо-запад – на фронт. Другие тысячи уходили и уезжали на восток, в эвакуацию.

Вот в такой день на улице Герцена я и встретил, в последний раз в жизни, Колю Майорова.

Какой он был тогда – помню: хмурый, лобастый, неторопливый, с медленной доброй усмешкой на губах.

– А я вот иду в военкомат, записываться в армию.

Постояли мы на улице, на самой важной для нас обоих улице Герцена – больше трёх лет проучились мы на ней, через два дома друг от друга. Поговорили о товарищах: кто как и кто где. Торопливо, в двух словах, рассказал я Коле о фронте и о госпитале. И – разошлись...»

Строка из газеты: «На днях свыше 40 студентов Московского университета ушли добровольцами на фронт – защищать подступы к Москве...»

18 октября Николай Майоров был направлен в действующую армию...

«... Но я иду»

Моя земля – одна моя планета,
Она живёт среди ночей и звёзд,
Мне говорят, что путь бойца-поэта
В её очах не очень будет прост.
Но я иду.

В этих пяти строках, кажется, выражена суть Николая Майорова как человека. Но самое-то удивительное, что строки эти были написаны не в 1941 году, когда Николай надел шинель бойца Красной Армии, а в мирном 1938-м.

О своём же пути бойца-поэта Майорову довелось рассказать не стихами, а в письмах.

Письмо от 22 октября 1941 года:

«Здравствуй, Ирина!

Опять хочется тебе писать. Причём делаю это без надежды получить от тебя ответ: у меня нет адреса.

Сейчас я в армии. Мы идём из Москвы пешком по направлению к Горькому, а там – неизвестно куда. Нас, как население, годное к службе в армии, решили вовремя вывести из Москвы, которой грозит непосредственная опасность. Положение исключительно серьёзное. Я был раньше зачислен в Ярославскую лётную школу. Но когда вокруг Москвы создалось напряжённое положение, меня мобилизовали в числе прочих. Сейчас направляемся к формировочному пункту, расположенному где-то около Горького. 15-16-17 октября проходила эвакуация Москвы. Университет эвакуируется в Ташкент, к тебе. Ребята вышли из Москвы пешком – эшелонов не хватило...

Мы вместе с Арчилом Джапаридзе (только вдвоём) не снялись с учёта и вот сейчас уже находимся в армии.

Вообще подробно тебе об этих днях – по-своему интересных – расскажу после.

Идя в армию, я лишил себя возможности увидеть тебя. А хотелось видеть тебя!

Сейчас нас, людей самых разных возрастов и профессий, ведут по шоссе Энтузиастов по направлению к Мурому. Идём пешком. Устали ноги. Прошли Ногинск и Покров. В какую часть я попаду – не знаю. Адреса у меня пока нет.

Хотелось бы видеть, какая сейчас ты.

Целую крепко (очень). Ник».

Письмо от 8 ноября 1941 года:

«Здравствуй, Ирина!

Опять пишу.

Мы уже за Арзамасом. Скоро перейдём Волгу. В общей сложности мы должны пройти пешком около 1000 км, из них почти половина осталась за спиной. Через месяц, возможно, наконец прибудем на формировочный пункт, а там неизвестно, куда нас определят. От фронта мы почти так же сейчас далеки, как я далёк от тебя.

Очень беспокоюсь за братьев, а равно и за родителей. Едва ли сейчас в Иванове спокойно.

В Муроме встретил некоторых ребят из университета. Они эвакуируют-ся (бегут) в Ашхабад (а не в Ташкент, как я было писал тебе)... Увидев нас в шинелях (меня и Арчила), оглядывали нас, как старики Бульба сыновей своих некогда...

А самое страшное – едва ли удастся увидеть тебя, слишком взаимно противоположные направления приняли дороги наши. Мне 22 года, впереди армия, фронт и вообще чёрт знает что. Ещё страшнее то, что ты думаешь обо мне, пожалуй, не совсем хорошо. И права. Вот и стучу себе в грудь кулаком, а иногда такое настроение – забыла; ладно, всё перемелется...

А верстовые столбы без конца. Идёшь-идёшь, думаешь-думаешь, и опять ты где-нибудь всплываешь, и всё – сзынова. Курю. Думаю. Ругаю. Всех. Себя. Иногда разговаривать ни с кем не хочется. Даже с Арчилом. Насуплюсь и молчу.

Тяжело идти, но я, дай бог, более или менее выносив. Плохо (очень) с питанием. Есть с чего быть злым. Сплю на шинели, шинелью покрываюсь, в головах – тоже шинель. Не подумай, что их три – шинели. Всё это случается с одной шинелью.

А рядом идут куда-то поезда. Может – и в Ташкент. И вдруг рассердишься – да что это я, в самом деле? Всё перемелется, всё. Будем весёлыми.

И ты хорошо живи, веселей, бери всё, что можно, а вообще мне тебя не учить. Это я просто от злости бешусь. Злых я люблю, сам – злой.

Целую.

Ещё раз, ещё.

Ваш покорный слуга Ник.

И зачем я пишу всё это? А?».

Письмо от 8 ноября 1941 года:

«Добрый день, мои дорогие родители, а также братья Шура и Витя...

Сейчас нахожусь за Арзамасом. Сегодня – 8 ноября – у нас первая днёвка, а то всё шли и шли. Сегодня побрились, попали к доброй хозяйке, она нас мясным супом накормила. Вообще мне немного легче приходится – нас в колонне с высшим образованием человек пять. Командир нашего взвода окончил наш университет, а ротный – инженер. Мы квартируем всё время втроём... Вообще мы дружим – каждой коркой и каждым рублём делимся. Я на время назначен помощником комвзвода (до места следования). Идём вот уже 20 дней, ещё пройдём больше полмесяца. Километров 40 до Арзамаса ехали на поезде, а то всё пешком. В общей сложности до места следования мы пройдём около 1000 км – и всё пешком. Сейчас здесь уже выпал снег, ветры дуют резкие, многие ребята кашляют, я пока ещё не успел пристудиться.

С дороги послал письмо Алексею, а вот сегодня думаю ещё одно послать. Напишу и Ивану письмо... Немцы под Москвой задержаны, и их наступление пока отбито.

В первом же письме напишите мне, как живёте, как тятя с Александром работают. Не призвали ли Шурку в армию? Он с 1924г., а в нашей роте 6 чел. с 1924-го.

... Ну, обо мне беспокойтесь меньше всего, поход я выдержу, а там увидим, что будет. Бельё у меня тёплое, мёрзнуть меньше других буду. Сейчас всем трудно. Праздник мы плохо проводим, да и до праздника ли сейчас?!

Ну, пока всё. Завтра утром идём дальше. Мы перешли Оку, скоро за Волгу доберёмся.

Желаю Вам здоровья, меньше волнения, спокойно живите.

Ваш сын Ник.

Шура и Витя!

Прошу Вас – живите дружнее, так дружно, как живут ваши три старших брата, находящиеся в РККА. Помогайте маме и тяте, всё делайте для того, чтобы они меньше беспокоились. Давайте побольше старания, сами понимаете – война.

Ваш брат Ник.».

Письмо от 18 декабря 1941 года:

«Ирина, здравствуй!

За последнее время никому так много не писал писем, как тебе. Не знаю, радоваться или плакать тебе по этому слушаю. Домой я не писал 1,5 месяца – не знаю, что уж обо мне там теперь думают. О братьях ничего не слышу. А как бы хотелось всё обо всех знать!

Сегодня – 18 декабря – ровно 2 м-ца, как я в армии. По этому слушаю и пишу домой, тебе, братьям.

Я чуть было не был демобилизован (по приказу НКО о дипломниках), но почему-то задержали...

А теперь перспектива такова. До Нового года нас обещают маршевой ротой отправить на фронт. Но яснее никто ничего не знает.

Скучная жизнь, да ничего не поделаешь – война. Многое бы хотелось, да не всё есть. Сейчас приходится меньше требовать, а больше работать.

Хочется увидеть тебя, говорить с тобой, глядеть на тебя. Пока же кое-как удалось прочесть «Юморески» Гашека и «Два капитана» Каверина. Если не читала последнюю книгу, прочти – хорошая. А в общем, скучно и грустно. Радуюсь нашим успехам на фронтах. Боюсь за братьев.

Напиши мне письмо, возможно, оно застанет ещё меня здесь.

Целую. Ник.

Привет от Арчила».

Письмо от 28 декабря 1941 года:

«Здравствуй, Ирина!

Жду эшелона для отправки на фронт. Нахожусь в маршевой роте. Говорят, нас направляют в гвардейские части, на Московский фронт. Хорошо бы ехать через Иваново – возможно, забегу.

Обмунированы хорошо: полушибки, ватники, в дороге валенки дадут. Дали махорки – самое главное. Воевать придётся в самые зимние месяцы. Ну да ладно – перетерпим. Арчила не взяли в гвардию – слепой. Тяжело было расставаться с ним.

Поздравляю тебя с Новым годом, 1942-м! Что-то ждёт меня в этом году? Ты знаешь, как я скверно встретил 1941 г. – был вызван сумасбродной телеграммой в Иваново. Сейчас Новый год я тоже встречу в вагоне. Песни петь буду. Тебя вспоминать. Жаль, что только вспоминать.

Ну, пока всё, кажется.

Целую тебя много-много раз.

Николай».

Письмо от 28 декабря 1941 года:

«Здравствуйте, дорогие родители, а также братья Шура и Витя. Шлю вам горячий привет. Сейчас нахожусь в маршевой роте, направляющейся на фронт. Нас направляют в гвардейские части. До этого времени работал помощником политрука.

... Страшно хотелось бы узнать, что слышно о братьях? Есть предположение – очень вероятное – что мы едем на Московский фронт. Если поедем через Иваново, постараюсь вырваться, забежать, если поезд будет стоять. Сейчас, мне кажется, иначе в Москву и нельзя попасть, как через Иваново. Хорошо бы так получилось. Ну, пока всё. Это письмо к Вам поздно, наверно, придёт, я уже буду к тому времени на фронте. При каждой возможности буду писать вам письма. Хотел телеграмму вчера из Йошкар-Олы послать, да очередь большая была – ждать некогда.

Ну, пока всё. Обо мне меньше всего беспокойтесь.

Желаю вам здоровья. Ваш сын Ник».

«Что-то ждёт меня в этом году?» Такой вопрос задавал себе в канун 1942 года каждый советский человек. Этот вопрос стоял перед всем нашим народом.

1941-й уходил в историю, и в страницы её уже были вписаны многочисленные подвиги сынов Отечества. Провалился план «Барбаросса», план быстрого покорения Советского Союза. Была выиграна грандиозная битва под Москвой, оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской областей.

Маршал А.М. Василевский (кстати, тоже наш земляк) в книге воспоминаний писал: «Немецкая армия в глазах значительной части человечества была окружена ореолом непобедимости. И вот впервые “непобедимые” немецкие войска былибиты, ибиты по-настоящему. Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой техники. Таких потерь фашистская армия ещё не знала»

Потерпев поражение под Москвой, вынужденный отступать, враг ещё цеплялся за подступы к столице, пополнял свои силы, намеревался оправиться и предпринять новый бросок. В середине января Гитлер приказал создать прочную оборону восточнее Ржева, Вязьмы, Гжатска и Юхнова. Советские войска сделали попытку 25 января овладеть Гжатском. Но безуспешно. Сопротивление гитлеровцев возрастило. На ряде участков они переходили в контрнаступление...

Именно здесь, в двадцати километрах от Гжатска, 8 февраля и погиб рядовой 1106-го стрелкового полка 331-й дивизии поэт Николай Майоров. В похоронном извещении указано и место гибели – деревня Баренцево. Как выяснилось позднее, не Баренцево, а Баранцево.

Ирина Васильевна Пташникова, побывавшая здесь, рассказывала, что местная пожилая женщина указала ей место захоронения двух солдат, – это место было недалеко от её дома, «на лужку».

Однако это, видимо, было место упокоения двух других солдат.

Ветеран той самой 331-й дивизии, в составе которой воевал Николай, А.З. Каюков рассказывал ребятам-следопытам из Дмитровского рыбопромышленного техникума:

– Оборона деревни Баранцево длилась несколько месяцев с января сорок второго года. Меня ранило и контузило девятнадцатого февраля. Потому и жив. Мало кто отсюда вернулся... Трупами была усеяна вся земля. Окопы не рыли. Снег был большой, мороз под сорок градусов. Надеялся ёлочек и на снег. Раз как-то снег подо мной подтаял, и вот вижу: на мертвце лежу... Но мы насмерть стояли, и ни метра не сдали.

Помню, как подошёл ко мне политрук, был он в плащ-палатке. И подбадривает нас: «Ничего, ребята, ещё и о нас книги напишут...» Может, это Майоров и был?..

Из экспедиционного дневника Геннадия Курышкина:

«Баранцево расположено в сырой низине. Вокруг встал угрюмый лес. Нас встретил сторожил этих мест лесник Сергей Иванович Королёв. Одет он был просто. Рядом бежала огромная овчарка. С.И. Королёв показал нам братскую могилу – небольшой холмик, заросший травой. Потом дал нам бензопилу, и мы стали готовить костёр... Девчонки окопали и украсили цветами могилу. Сергей Иванович помог нам установить табличку, на которой выгравировано:

«Что гибель нам?
Мы даже смерти выше!»

Николай Майоров.

Поэту-пулемётчику Николаю Майорову,

погившему 8 февраля 1942 года.

от совета музея «Строка, оборванная

пулей» Дмитровского рыбопромышленного техникума.

Костёр разгорелся и осветил серьёзные лица ребят и гостей нашего края. Красный от света падал на знамя, у которого каждые десять минут сменялись участники экспедиции.

И вот самый главный момент: минута молчания. Скорбно опущено древко знамени... И вдруг услышали щелчок переламываемого охотничьего ружья.

— Тут салют нужен, — глухо сказал Сергей Иванович.

Только сейчас мы заметили, что он переоделся: на нём форменная куртка, на кокарде вспыхивают отблески костра.

Дождь перестал, небо расчистилось, зажглись яркие звёзды.

В ночной тишине леса грянул сначала один, потом другой выстрелы. Снова щелчок — и снова звонкое эхо разносится по лесу. Постепенно угасло эхо, но память о героях, известных и неизвестных, останется в нашем сердце».

4.

Гибель Николая Майорова не вычеркнула его из наших рядов. Его поэзия, а значит, и он сам оказались выше смерти. Вот уже более полу века его стихи славят жизнь, мужество, честь.

Я знал одно —
Куда милей кочевые!
Спать на полу,
Читать чужие книги,
Под голову совать
Кулак иль камень
И песни петь —
Тревожные, хмельные —
Ходить землёй,
Горячею от ливня,
И славить жизнь...

— Куда милей кочевые! — повторяю я.

«*Видишь как...* — долетает до меня глухой голос Николая. — *Родился, можно сказать, в дороге, в дороге и убит...* Там — Дуровка, здесь — Баранцево. Чем не кочевые?»

Я молчу. Ищу слова утешения и не нахожу.

«*О многом писал, а видел так мало... Море никогда не видел, гор не видел... Да что там, легче перечислить, что видел. Иваново да Москву, Москву да Иваново. Ездил вечно на третьей полке. “На третьей полке сны запрещены...” Вот так сложилось».*

И опять молчим. Я думаю о том, что та лесная могила ничем не хуже и не менее значима, чем Мамаев курган или Пискарёвское кладбище. Они все — горе, боль и слёзы наши.

«*А как братья мои?*» – поднимает он на меня глаза.

– Алексей прошёл через всю войну. Заслужил четыре ордена и семь медалей. В чине полковника вышел в отставку. Жил в Минске...

«*А Иван?*»

– Иван? Как тебе сказать... Похоронки на него не было. Есть предположение, что попал в плен. Как-то в газете «Правда» попалась мне статья «Тысячелетний Люксембург». Вот в ней... Одну минуту, сейчас найду... Вот: «Мы идём по музею в Эше, который рассказывает о движении Сопротивления в Западной Европе, об участии в нём люксембуржцев. Огромные труны – в них прах концентрационных лагерей – Хинцерт, Натцвайлер, Датзай, Маутхаузен, Равенсбрюк, – в которых нашли смерть граждане Люксембурга. Списки заключённых люксембуржцев, а рядом с ними – фамилии французов, поляков, чехов и русские имена – Майоров Иван, Беляков Шеонид, Исаенко Никита...» Можно только предположить – брат это твой или однофамилец.

«*Жалко Ивана... Настоящий человек был. Ну, а родители, друзья?..*»

– Федора Фёдоровна умерла в 1965 году. Отец твой – двумя годами позднее. Брат Александр после того разносного письма Ивана поступил на завод, выучился на токаря, потом пошёл в армию, воевал... Виктор закончил институт, стал инженером, одно время жил в Подмосковье...

Ирина Васильевна Пташникова жила в Ташкенте, приезжала как-то в Иваново, дружила и переписывалась с Жуковыми. Не знаю – жива ли сейчас.

«*А девушка с Московской?..*»

Что сказать ему? Я хорошо помню, как она говорила мне при встрече: (О гибели Николая друзья долго не говорили мне. Об этом я узнала лишь через полгода, летом сорок второго! И будто всё рухнуло. Мир, кажется, перестал существовать для меня. Только тогда я со всей очевидностью поняла, какое место он занимал в моей жизни. Я не верила в его гибель. Okончилась война, а я всё продолжала ждать...)»

– Девушка с Московской?.. Жила в Москве, семья, внуки... Бабушка.

«*Не могу представить её в роли бабушки. Но... Всё нормально. Однако для меня она навсегда осталась юной. Первая любовь. Помню, как тяжело было расставаться с ней, когда уезжал в Москву. А какие письма я ей писал оттуда!*»

– Больно говорить о том, но сказать надо: письма те, к сожалению, не сохранились. После войны уже их уничтожил её муж.

«*Почему?*»

– Ревность.

«*Жаль. Нет, не писем. Его жаль.*»

Помолчал. Снова спросил:

«*А ребята?*»

– Живы были. Но ведь и возраст... Шеберстов умер. О Титове не знаю. А в девяносто седьмом вот и Владимир Жуков скончался. На семьдесят восьмом году. Это он ведь твою первую книжку составил. Да и вторую во многом... Помню, как-то рассказал мне: «Была зима сорок пятого. Пришёл я к Майоровым. Обрадовались мне. Но, как бывает в таких случаях, мать Николая, Федора Фёдоровна, тут же вспомнила о сыне, заплакала... Посидели, погоревали, повспоминали. Потом спрашивали: «Не осталось ли чего-нибудь из стихов Николая? – «Да вроде было что-то, какие-то тетрадки...» – «Где эти тетрадки?» – «Вот, может, на чердаке...» Полез на чердак. Стоят пустые крышки, а на них – от пыли – тетрадки. Взял одну – стихи. Другую – стихи...»

А в другой раз Владимир Жуков признался: «Меня не оставляет мысль, что в гибели Коли есть и моя вина. Мои рассказы о незнаменитой финской войне, на которой я был пулемётчиком... Ведь он тоже воевал в пулемётной роте. Дурной пример сработал на его погибель». – И Жуков прочитал стихи:

Чьей матери плакать, чьей жить не тужить,
и стать ли невестой девчонке,
в чьи двери стучаться, а чьи обходить, –
не знали тогда похоронки...

Да нет, ни Жуков, ни кто другой не виноват. Виновата – Война!

Ещё один штрих

Автор и его литературный герой. Отношения между ними складываются всегда не просто: одних писатель любит, к другим относится снисходительно, а то и равнодушен, третью как-то сами собой уходят в небытие, и когда писателю напоминают о таком персонаже, он, автор, давший своему герою какую-никакую, но жизнь, может недоумённо спросить: а кто это?

Вот уже более тридцати лет меня сопровождает по жизни Николай Майоров. Память моя часто возвращает к жизни этого юношу, он стал для меня близким человеком, почти родным. Он как бы и старше меня по возрасту, но навеки уже – мальчик, невероятно талантливый. Если говорить о его отношении к поэзии, то он был, наверное, обручен с ней Высшими Силами с рождения. Ничего выше поэзии для него в жизни не было. И он честно признавался в этом. Есть у него стихотворение под названием «Тебе». Адресовано оно, конечно, любимой. Но... Вот именно – но!..

Тебе, конечно, вспомнится несмелый
и мешковатый юноша
когда
ты надорвёшь конверт армейский белый
с «осмушкой» похоронного листа...

Он был хороший парень и товарищ,
такой наивный, с родинкой у рта.
Но в нём тебе не нравилась
одна лишь
для женщины обидная черта:
Он был поэт, хотя и малой силы,
но был,
любил,
и за строкой спешил.
И как бы ты ни жгла
и не любила, —
так, как стихи, тебя он не любил.
И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя,
любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полу碌еду, но мог отдать тебя!
Земля не обернётся мавзолеем...
Прости ему: бывают чудаки,
которые умрут, не пожалея,
за правоту прихлынувшей строки.

1940–1941

Вот где предельная откровенность: «... он за четыре строчки Пастернака...»

В моём архиве хранится несколько писем Марии Григорьевны Бессмертной, которая в своё время училась на рабфаке при Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), была знакома с Владимиром Маяковским и даже «подрабатывала у него в РОСТА». В одном из писем Мария Григорьевна писала мне: «Я лично знала Николая Майорова, присутствовала вместе с Борисом Пастернаком на литературном вечере, где Николай Майоров читал свои стихи». И в другом письме: «... Когда я видела Николая с Б. Пастернаком, запомнила его слова, когда мы уходили: «Это самородок. Такие бывают раз в 100 лет».

Давно замечено, что по тому, каковы статус и положение поэта (в широком смысле этого слова) в обществе, можно судить и о самом обществе, и о жизнестойкости нации.

Николай Майоров верил в нас, шедших следом, надеялся, что после Победы мы построим счастливую жизнь и воздадим должное тем, кто умирал за свободу и наше счастье, «не кланяясь свинцу». А мы? Сначала сломали дом, в котором жил поэт, а потом чуть не лишились его бронзового бюста в Литературном сквере. И не слышим его стихов – ни с эстрады, ни по радио, ни с экранов телевизора. Будто и не было такого замечательного поэта. Таков его «статус» и нашего общества.

